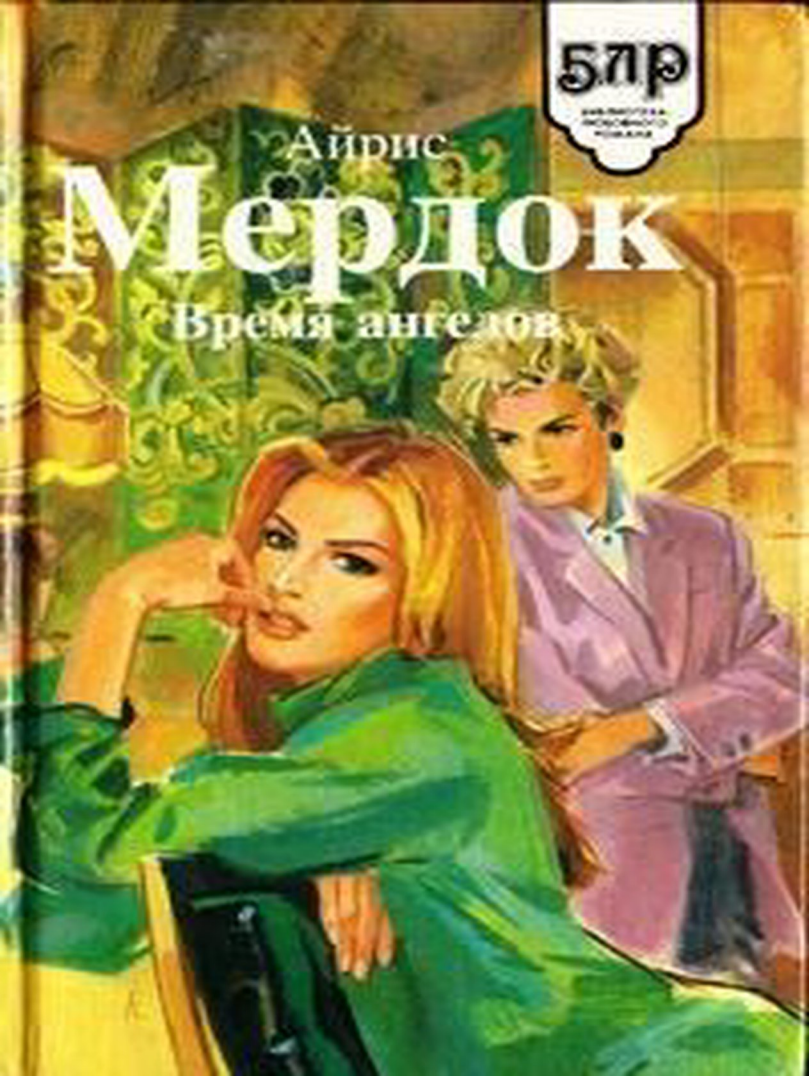
БЛР

Айрис

Мердок

Время ангелов



Время ангелов
Айрис Мердок

Аннотация
Айрис Мердок. Время ангелов
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20

Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24

Аннотация

«Время ангелов» — роман, изысканно, умно и зло пародирующий классические штампы викторианской и поствикторианской «семейной прозы». Старинный особняк в сердце Англии становится сценой, на которой разыгрываются почти античные по накалу драмы любви, ненависти и измены. Респектабельные интеллектуалы с наслаждением предаются саморазрушительным страстям, привычная жизнь превращается в безумный хаос, поглощающий человеческие судьбы, а попытки обрести очищение и искупление приводят лишь к новым трагедиям…

Айрис Мердок
Время ангелов

Глава 1

— Пэтти.

— Да.

— Ты развела огонь в комнате Элизабет?

— Да.

— Так холодно.

— Что вы сказали?

— Холодно.

— Да.

Пэтти вытянула свои пухлые руки густого коричневого цвета, чуть более темного оттенка, чем cappuccino[1], и закоченевшими пальцами сгребла золу с узкой каминной решетки. Белый хлопчатобумажный халат, украшенный узором из красной земляники, с засученными по локоть рукавами, был надет поверх джемпера и юбки. Цветастый, не слишком чистый шарф из искусственного шелка покрывал сейчас ее черные как смоль волосы.

— Пэтти, звереныш.

— Да?

— Что за странный шум постоянно раздается?

---

[1] Примечания: 1
Кофе с молоком (итал.).

— Это подземная железная дорога. Она проходит прямо под домом.

— Подземная железная дорога. Интересно, привыкнем ли мы к ней?

Пэтти комкает хрустящие страницы «Таймс» и сверху складывает крест-накрест щепки, а на самый верх кладет старые порыжевшие бесформенные угли.

— Позаботься об этом пауке, Пэтти. Спаси его, пожалуйста. Вот так. Можно я сам зажгу огонь?

Вспыхнула спичка, осветив на смятой последней странице фотографию каких-то чернокожих, пытающих других чернокожих. Бумага милосердно вспыхивает. Когда Пэтти, вздохнув, опускается на пятки, спустившаяся петля пробегает по ее чулку, как маленькая ящерица.

— И пожалуйста, не забудь мышеловки, Пэтти. Я уверен, что видел мышь в своей спальне.

— Да.

Щепки, потрескивая, оседали в преисподнюю пылающей бумаги. Пэтти берет горсть сверкающего угля из пыльного ведерка и бросает на решетку. Пламя согревает ее лицо.

— И еще, Пэтти.

— Да.

— Если позвонит мой брат Маркус, скажи ему,

что меня нет. На все звонки отвечай, что меня нет.

— Да.

Спасенный паук перестал притворяться мертвым и бросился вниз по ведерку для угля.

— Как здесь ужасно темно. Кажется, будто туман проник в дом.

— Да, здесь темно.

— Я могу выпить молока, Пэттикинс?

— У нас нет молока. Я займу немного у привратника.

— Не беспокойся. Не изнуряй себя, пожалуйста, Пэтти, конфетка.

— Кто-то же должен заниматься хозяйством.

Черная сутана слегка задела ее туго обтянутое чулком согнутое колено, и холодный палец погладил выступающий позвонок склоненной шеи. Шаги удалились, и сутана зашуршала вверх по ступеням. Не поворачиваясь, Пэтти встала.

Огромный застекленный книжный шкаф, которому еще не нашли места в новом доме, стоял поперек холла, где Пэтти разводила огонь. На полу перед ним лежат книги, на которые она сейчас натыкается, двигаясь назад. Споткнувшись о

«Sein und Zeit»[2], она теряет тапочку и с раздражением пинает «Sein und Zeit» замерзшей ногой в чулке. Вся обувь Пэтти таинственным образом становится слишком велика для нее вскоре после покупки. Сверху раздаются чуть слышные звуки музыки. «Лебединое озеро». И на секунду тело Пэтти становится легким как перышко. Пэтти видела балет, белые фигуры, плавно двигавшиеся, как ожившие цветы. «Но теперь я растолстела, — подумала она в следующее мгновение. — Теперь я толстуха».

Звонок у парадной двери прозвенел пугающим незнакомым звуком; Пэтти приоткрыла дверь. Она не открыла ее как следует, потому что снаружи еще холоднее, чем дома. В помещение хлынул туман, заставив Пэтти закашляться. В желтоватой дымке, которую следовало считать светом раннего полдня, она едва смогла различить стоящую на тротуаре даму средних лет, с яркими широко расставленными глазами. Пряди влажных волос свисали из-под ее элегантной меховой шляпки и прилипали к щекам. Пэтти с вожделением рассмотрела ее пальто из персидского ягненка. Ее замшевые сапожки оставляли четкие

---

[2] Примечания: 2
«Бытие и время» (нем.).

отпечатки на покрытом изморозью булыжнике, когда она от холода слегка переступала с ноги на ногу. Ее жеманный голос не оставил у Пэтти никаких сомнений — это враг.

— Я очень извиняюсь за беспокойство. Меня зовут миссис Барлоу. Я из пастората. Можно мне повидать нового священника?

— К сожалению, священник сейчас никого не принимает.

— Я бы задержала его всего на одну минуту. Видите ли, дело в том…

— Мне очень жаль, мы только что въехали, и нужно так много сделать. Не могли бы вы зайти попозже?

Пэтти закрыла дверь. В туманном интерьере холла передвигался или, скорее, даже скользил юноша необыкновенной красоты, лет двадцати. Цвет его коротко подстриженных волос, как Пэтти узнала из своих журналов, назывался светло-земляничным. Он с любопытством осмотрелся, стал разглядывать книги на полу, а затем, увидев Пэтти, крадучись вернулся под лестницу и направился к кухне. Пэтти, считавшая, что все молодые люди насмехаются над ней, неодобрительно отметила его остроносую обувь. Появился еще один враг.

— Пэтти.

— Да, мисс Мюриель.

— Кто этот ужасно красивый мальчик, которого я только что видела?

— Это сын привратника.

— О, у нас есть привратник? Как его зовут?

— Не знаю. Какое-то иностранное имя. Не развести ли огонь в вашей комнате?

— Нет, не беспокойся. Я пойду к Элизабет. Телефон. Ответь, пожалуйста, Пэтти. Если позовут меня, скажи, что меня нет.

Послышался мужской голос, нерешительный и извиняющийся:

— Алло. Говорит Маркус Фишер. Могу ли я поговорить с моим братом?

— Боюсь, священник занят.

— О, может, тогда я смогу поговорить с Элизабет?

— Мисс Элизабет никогда не подходит к телефону.

— Может, тогда с Мюриель?

— Мисс Мюриель нет.

— Когда я смогу поговорить со священником?

— Не знаю.

— Скажите, пожалуйста, с кем я говорю?

— С мисс О'Дрисколл.

— А, Пэтти. Извини, я не узнал твой голос. Что ж, полагаю, мне лучше перезвонить попозже, не так ли?

— До свидания, мистер Фишер.

Темная фигура на верхней площадке лестницы пробормотала что-то одобрительное, и бумажная птичка взлетела, пронеслась вниз, ударилась о халат Пэтти чуть выше сердца и упала на пол у ее ног. Не поднимая глаз, Пэтти разгладила бумагу, собираясь бросить ее в огонь, и прочла новый адрес, напечатанный на ней: Квартира приходского священника, Св. Юстас Уотергейт, Лондон, Е. С. Пэтти все еще не могла поверить, что она в Лондоне.

Тихий голос над ней поет: «Frere Jacques, frere Jacques, dormez-vous»[3], а дверь, открываясь и закрываясь, выпускает на волю на мгновение чуть слышные звуки «Лебединого озера». Под землей проходит поезд и сдвигает все в доме на миллиметр-другой и сжимает ее сердце напоминанием о смерти. Она бормочет стихи, которые теперь заняли место молитвы, сменившей собой в свое время незатейливую магию ее детства. «Не отворачивайся больше. Зачем тебе отвора-

---

[3] Примечания: 3

Братец Яков, братец Яков, спишь ли ты? (фр.).

чиваться? Усеянное звездами дно, прибрежные воды подарены тебе до рассвета».

Она направляется в кухню, где «земляничный» блондин ждет, чтобы отвести ее к отцу.

Пэтти в комнате привратника вскоре начинает ощущать себя совсем другим человеком. Белокурый юноша, которого зовут Лео, скрылся, и привратник, чье имя такое странное, что Пэтти все еще не может его разобрать, подает ей чашку удивительного чая. Привратник явно иностранец, у него доброе печальное лицо, напоминающее какое-то животное, и густые свисающие рыжеватые усы. Пэтти нравятся мужчины, похожие на животных, по этой причине она испытывает симпатию к привратнику, к тому же она уверена, что он не насмехается над ней.

Привратник объяснял систему отопления дома священника, за которой он присматривает. Система очень сложная, и Пэтти пришло в голову, что она, похоже, обогревает саму котельную, комнату привратника и очень мало что еще. Пэтти рассматривает комнату. Это бетонированная коробка, похожая на бомбоубежище. Здесь какой-то странный запах, Пэтти кажется, что это ладан, хотя она никогда прежде не знала запаха ладана. Странная стальная клетка оказалась двумя

койками, расположенными одна над другой, но только нижняя была застелена как кровать. Верхняя же, накрытая доской, поддерживала самую удивительную картину, какую Пэтти когда-либо видела. Она написана на дереве золотой краской. «Это, должно быть, настоящее золото, — думает Пэтти, — оно светится, как будто в огне». На ней изображены три ангела, беседующие за столом. У ангелов маленькие головы, огромные бледные нимбы, встревоженные и одновременно задумчивые лица.

— Что это? — спрашивает Пэтти.

— Икона.

— А что такое икона?

— Просто религиозная картина.

— Кто эти люди?

— Святая Троица.

Так как привратник сказал «Святая Троица», а не просто «Троица», Пэтти предположила, что он верит в Бога. Это успокоило и обрадовало ее. Бог играл неопределенную, но важную роль в жизни Пэтти, и ее радовало, если другие люди верили в Него.

— Как вас зовут, я все еще не поняла.

— Юджин Пешков.

— Иностранное имя, да? Кто вы?

— Я русский, — ответил он с гордостью, а затем спросил: — А вы?

Она поняла вопрос, но как на него ответить?

— Я Пэтти О'Дрисколл.

Глава 2

— Что ты намерен делать со своим братом?

— Не знаю. А разве необходимо что-то делать? — Маркус Фишер стоял спиной к теплой, ярко освещенной комнате, выглядывая на улицу в щель между занавесками. Туман, будто сам став источником света, слегка окрасил тьму рыжевато-желтым цветом и сделал ее еще более густой. Звук корабельной сирены поблизости в плотном воздухе прозвучал приглушенно. Маркус с удовлетворением задернул занавески и снова повернулся к пылающему огню.

Нора Шэдокс-Браун, крепкая, облаченная в твид, неясно вырисовывалась у стола. Как многие из тех, кто живет заботами других, она и в среднем возрасте сохранила девический вид, хотя ее аккуратные прямые волосы уже чуть посеребрились. Свет лампы сиял над ней, освещая плотное ирландское полотно, на белом фоне которого поблескивал золотой узор трилистника. Огромный, как головка сыра, вишневый торт, разрезанный на куски, обнажал свою кремовую сердцевину, усеянную сочными вишнями. Мар-

кус с одобрением осмотрел все сверху донизу. Жареные лепешки мягко покоились под тяжестью тающего масла. Джем из сливы ренклод, названный его создателем «ренклод чатни», чтобы подчеркнуть исключительность и объяснить его высокую цену, громоздился маслянистой горой на блюде из стекла Уотерфорда. Чайник только что наполнили, и сильный приятный запах горячего индийского чая пригласил Маркуса к столу. Он сел.

— Я просто боюсь, что произойдет какой-то скандал. А это так плохо для девочек.

— Не знаю, что у тебя на уме, — сказал Маркус. — Конечно, Карел ужасно эксцентричный, но он преуспевал на прежнем месте, и я не вижу причин, почему бы ему не управиться здесь. Во всяком случае, это напоминает мне синекуру.

— Совершенно верно! Я подозреваю, что священноначалие оценило твоего брата и поставило на такое место, где он не сможет принести вреда!

— В чем состоят обязанности приходского священника этой несуществующей церкви? Ведь от церкви ничего не осталось, кроме башни.

— Да. Бомба разрушила все остальное. Такая потеря! Вы знаете, это Рен. И он не создал ничего

более прекрасного.

— Все это место выглядит как будто его только что разбомбили, Я ходил туда как раз перед приездом Карела. Они снесли все вокруг дома священника, буквально все.

— Да, это тот самый участок, из-за которого подняли столько шума и писали в «Таймс».

— Эта идея с небоскребом?

— Да. Разрешение на проектирование в последний момент отменили.

— Solitudinem fecerunt[4] в порядке. Но неужели нет ничего, кроме дома священника и башни? Никакой церкви где-нибудь еще?

— Нет. Кажется, есть еще церковный зал, но он не освящен; я полагаю, священник может работать и много, и мало, — словом, как ему заблагорассудится. Помнишь, хотя вряд ли, парня, который был здесь прежде, странного вида калека, кажется, он никогда ничего не делал. Это явно убежище для трудных детей. Я встретила способную свести с ума женщину, по имени миссис Барлоу, в офисе Оксфам, и она рассказала мне об этом. Подозреваю, она воображает, будто обладает властью над этим приходом, и, кажется,

---

[4] Примечания: 4
Превратили в пустыню (лат.).

считает это место своей собственностью. Ты же знаешь, как городские церкви выглядят в наши дни. Лекции и концерты, а по воскресеньям они закрыты. Это вполне устроит Карела! Он может предоставить все миссис Барлоу.

— О чем тогда беспокоиться? — спросил Маркус, подкладывая себе «ренклод чатни».

— Потому что он не может жить по принципу «от добра добра не ищут». Ему нравится шокировать людей. Ты же знаешь, какой он неуравновешенный.

— Успокойся! — Здравомыслящая Нора никогда не поймет такой сложный, обращенный в себя характер, как у Карела. Нора считает любую утонченность фальшью. — И посмотри, каким образом он отказывается повидать тебя и даже не позволяет тебе навестить Элизабет. В конце концов, вы оба были назначены опекунами, когда умер ее отец. А он никогда не позволял тебе и слова сказать.

Карел был старшим братом Маркуса. Джулиан, отец Элизабет и младший брат Маркуса, умер много лет назад от какой-то таинственной болезни, когда Маркус находился в Соединенных Штатах. Это правда, что Карел вел себя так, как будто он был единственным опекуном ребенка.

— Я не стал бы так говорить, — возразил Маркус. — Здесь есть доля моей вины. Мне следовало занять более твердую позицию с самого начала.

— Ты боишься Карела, вот в чем твоя беда.

Боялся ли он? Родители Маркуса умерли, когда он был еще школьником, и Карел, ставший главой семьи в шестнадцать лет, стал казаться ему отцом. Джулиан, младший, вечно недомогающий, превратился для обоих братьев в объект любви. Но именно Карел стал источником силы.

— Мы все тогда были очень счастливы вместе, — пробормотал Маркус, его рот был набит теплой масляной лепешкой и ренклодом.

— Что ж, похоже, потом что-то расклеилось.

— Наверное, мы просто выросли. К тому же появилась девушка. И… много разных вещей.

— А что делала девушка?

— О, причинила много бед… Она была восторженным созданием и по-своему влюблена в нас троих, и мы были некоторым образом влюблены в нее. Я спасся, ускользнув в США. Карел и Джулиан были тогда уже женаты.

— Кажется, все довольно запутанно.

— Так и было. Она выглядела немного нелепой, но ужасно милой. Я вспоминал ее как смешной эпизод. Забавно, теперь я даже не могу

представить ее внешность. Она была членом Коммунистической партии. Все это произошло невероятно давно.

Маркус был больше обеспокоен неожиданным возвращением брата в Лондон, чем показывал это Норе. Приход в Мидленде считался малодоступным из-за своей удаленности. Ходили какие-то слухи об эксцентричных выходках Карела. Маркус предпринял два коротких и явно нежелательных визита, и теперь прошло уже несколько лет с тех пор, как он видел своего брата и Элизабет.

— Сколько сейчас лет Мюриель? — спросила Нора, подливая еще чаю. — Дай-ка подумать, ей, должно быть, двадцать четыре.

— Полагаю, да.

Мюриель была дочерью Карела, его единственным ребенком.

— А сколько лет Элизабет?

— Девятнадцать.

Девятнадцать! Он знал это. Он много думал о том, как растет Элизабет. Он очень ясно помнил ее очаровательным ребенком лет двенадцати, ее удлиненное бледное печальное лицо и светлые, почти белые волосы, струящиеся по плечам. Она обладала зрелостью единственного ребенка,

ощущающего себя сиротой. Конечно, она была немного дикой, с мальчишескими ухватками. Ни ей, ни Мюриель не пришлось долго наслаждаться материнской заботой. Обе миссис Фишер, Шейла и Клара, родили по девочке и вскоре умерли. Их поблекшие образы, наделенные сверхъестественными, таинственными чертами и теперь слившиеся воедино, парили в отдалении, как печальное и немного обвиняющее соседство для холостяка Маркуса.

— Элизабет, должно быть, сейчас очень красивая, — сказал Маркус, подкладывая себе кусок вишневого торта. Хотя он трусливо никогда не заявлял своих прав на подопечную, он все еще ощущал по отношению к ней странное волнение, которое пришло к нему, когда после смерти Джулиана он почувствовал себя почти отцом очень хорошенького и умного ребенка. Карел вскоре незаметно ускользнул с малышкой. Пока она была ребенком, он регулярно с ней переписывался и привык связывать с ней, хотя и не отчетливо, будущее. Элизабет была для него словно в резерве, как нечто, что еще придет. Он почувствовал сейчас всем своим существом трепет того прежнего невинного чувства обладания, смешанного с еще более сильным ощущением страха перед

старшим братом.

— Болезнь могла изменить ее внешность, — предположила Нора. — Может, это какой-то врожденный порок. Не следует удивляться, если она умрет молодой, как ее отец. — Нора, здравый смысл которой иногда приводил к удивительно бессердечным суждениям, никогда не любила Элизабет и называла ее лукавым призрачным созданием. — Кроме всего прочего, тебе следует узнать побольше о состоянии здоровья Элизабет.

Года четыре назад у Элизабет появилась слабость спины, то, что сначала называли скользящий диск. Ее заболевание не поддавалось диагнозу и лечению. Теперь она носила хирургический корсет и жила в соответствии с предписанием «ничего не принимать близко к сердцу».

— Ты совершенно права, — сказал Маркус. Он начал испытывать особую боль, вызванную настойчивым желанием увидеть Элизабет снова и как можно скорее. Это чувство спало в нем, а сейчас пробудилось. Он ощущал вину и замешательство из-за своего отступничества.

— И потом, ее образование, — продолжала Нора. — Что мы знаем о нем?

— Я знаю, что Карел учил ее латыни и греческому.

— Я никогда не одобряла обучение в семье. Оно слишком поверхностно. Обучать должны профессионалы. Кроме того, обычная школьная жизнь принесла бы девочке только добро. Мне сказали, что она почти не выходит. Это плохо для нее. В таком положении люди должны просто сделать усилие и помочь себе сами. Сдаться и слечь — это самое худшее, что только может быть.

Нора, бывшая директором школы, верит в универсальную силу самопомощи.

— Да, ей, должно быть, одиноко, — сказал Маркус. — Хорошо, что с ней всегда рядом Мюриель.

— А мне это не нравится. Девочки слишком много находятся вместе. Cousinage, dangereux voisinage[5].

— Что ты имеешь в виду?

— О, я просто думаю, что это нездоровая дружба. Им следует видеть больше молодых людей.

— Услышать, как ты ратуешь за молодых людей, моя дорогая Нора, — это уж совсем не похоже на тебя. В действительности у меня всегда было впечатление, что девушки не очень-то ладят.

— Что ж, Элизабет трудная и избалованная. Боюсь, что и Мюриель сильно изменилась к

---

[5] Примечания: 5
Родство — опасное соседство (фр.).

худшему. Если бы только она поступила в университет и приобрела стоящую профессию!

— Но в этом нет вины Карела, — сказал Маркус. Ему не нравилась старшая племянница. В ней было что-то сардоническое, и это вызывало недоверие. Он предполагал, что она иронизирует над ним. Однако Мюриель была любимицей Норы и даже какое-то время благодаря Маркусу училась в ее школе. Будучи необычайно способной девушкой, она тем не менее отказалась от места в университете и стала машинисткой-стенографисткой — профессия, к которой Нора испытывала наибольшее отвращение. Маркус считал, что Нора строила слишком честолюбивые планы относительно Мюриель. Возможно, она просто слишком привязалась к ней.

Маркус, который сам был директором маленькой независимой школы в Хертфордшире, познакомился с Норой, общаясь с ней по работе. Сначала она ему нравилась и он даже восхищался ею. Только позже неожиданно и встревожено он почувствовал, что с ней могут возникнуть проблемы. Женщина, обладавшая огромной энергией, из-за плохого здоровья вынуждена была рано уйти на пенсию и поселилась в ветхом доме XVIII века в Восточном Лондоне. Конечно, она

тотчас нашла себе массу других занятий, и, по мнению ее врача, чрезмерно много. Она работала на добровольных началах для местного совета, входила в библиотечные, жилищные комитеты, комитеты по вопросам образования, занималась помощью заключенным, пенсионерам преклонного возраста и юным правонарушителям. И все же производила впечатление недостаточно занятой. Эмоции, которые прежде питали ее энергией для работы, теперь растрачивались вхолостую. Маркус обнаружил в ней некую сентиментальность, что совершенно не соответствовало ее прежнему образу сдержанного, рассудительного педагога и рождало чувство неловкости, чего-то почти патетического и трогательного. Она проявляла явную привязанность к своим бывшим ученикам и совершенно очевидный интерес, как он с тревогой заметил, к нему самому, и это нервировало его. А немного погодя она сделала встревожившее и смутившее его предложение переехать в освободившуюся квартиру на верхнем этаже ее дома. Маркус ответил уклончиво.

— Боюсь, Мюриель — типичная представительница современной молодежи, — продолжала Нора, — по крайней мере наиболее смышленой ее части. Она обладает сильной волей, высокими

принципами и может стать настоящей гражданкой. Но каким-то образом все пошло не так. У нее нет общественного положения. Как будто ее энергия привела ее прямо на грань морали. Эту тему тебе следует рассмотреть в своей книге.

Маркус взял отпуск на два семестра в своей школе, чтобы написать книгу, которую уже давно обдумывал, — философский трактат о морали мирской жизни. По замыслу это должен быть довольно краткий, но очень яркий, догматический труд, напоминающий «Рождение трагедии» Ницше своей обтекаемой риторикой и силой убеждения. Он надеялся, что книга произведет определенное впечатление.

— Я понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь о Мюриель, — сказал он. — Я наблюдал это в поведении других умных молодых людей. Как только они начинают размышлять о морали, то впадают в какую-то извращенную безнравственность.

— Конечно, это не всегда делает их преступниками. Преступность вызвана другими причинами, часто положением в доме. Например, этот парень, Пешков, кажется мне настоящим преступником, если ты позволишь мне так грубо отозваться об одном из твоих бывших учеников!

В его случае…

Маркус мысленно тяжело вздохнул, в то время как Нора продолжала излагать свою точку зрения на причины преступности. Не то чтобы Маркусу было скучно, но он не любил, когда ему напоминали о Лео Пешкове. Лео был одной из педагогических неудач Маркуса. Нора, участвуя в работе комиссии по решению местных жилищных проблем, нашла Пешковых, отца и сына, в грязной каморке, откуда перевезла их сначала в церковное общежитие, а затем с разрешения епископа в их нынешнюю квартиру в доме священника, как раз перед приездом вышеупомянутого странно выглядевшего калеки-священника. Лео, тогда еще школьник, посещал весьма посредственное местное учебное заведение, и Нора попросила Маркуса предоставить ему место в его школе. Фактически Маркус и Нора платили за обучение Лео, но Пешковы не знали об этом. Когда-то в школе Лео производил впечатление умного своенравного мальчика и вызвал у Маркуса профессиональный интерес. Маркус не страдал от недостатка самопознания и достаточно хорошо разбирался в тонкостях современной психологии. Терпимый к себе, он хорошо сознавал ту роль, какую играет в складе

преуспевающего учителя определенный природный садизм. Маркус оценил свои способности как садиста, он понял механизм воздействия и доверял своей интуиции. Он был хорошим учителем и способным директором школы. Но садизм, который в обычной сумятице человеческих отношений не бросается в глаза, может удивить своего обладателя, как только на сцене появится подходящий партнер.

Лео был совершенным партнером. Его особый, коварно-вызывающий, мазохизм слишком хорошо соответствовал темпераменту Маркуса. Маркус наказывал его, а он возвращался за новым наказанием. Маркус апеллировал к его лучшим чувствам и пытался обращаться с ним как со взрослым. Слишком много эмоций возникало между ними. Маркус проявлял доверие и привязанность, Лео отвечал грубостью, Маркус впадал в ослепляющий гнев. Лео с гениальным упорством продолжал создавать трудности. Маркус прочил его в университет — изучать французский и русский. В последний момент с подачи преподавателя математики, с которым Маркус, рассерженный сам на себя, стал обращаться как с соперником, Лео поступил в технический колледж в Лесестершире, чтобы изучать инженерное

дело. По слухам, он не слишком хорошо успевал.

— Все это — одно из проявлений упадка христианства, — заключила Нора. — Не то чтобы я возражала против его исчезновения со сцены. Но все обернулось совсем не так, как мы думали в юности. Эта атмосфера сумерек богов сведет множество людей с ума, прежде чем мы выбросим весь этот хлам из нашей системы.

— Интересно, действительно ли мы хотим выбросить все это из нашей системы? — сказал Маркус, отгоняя разрушительный образ юноши. Временами он находил оживленное здравомыслие Норы немного унылым, как у старого осторожного радикала. Ясный рациональный мир, во имя которого она проводила кампанию, не претворился в жизнь, а она так и не пришла к согласию с более запутанным миром, который существовал в действительности. Маркус, разделявший многие ее суждения, не мог не плениться тем, что она называла сумерками богов. Возможно ли, что огромный занавес громадных и смутных очертаний будет наконец откинут, и, если так, что откроется за ним? Маркус не был верующим, но был, как он иногда выражался, любителем христианства. Его любимым чтением была теология. А в молодости он ощущал тайную,

немного виноватую радость от того, что его брат — священник.

— Да, хотим, — сказала Нора. — Твоя беда в том, что ты всего лишь попутчик христиан. Лучше не связываться с умирающей мифологией. Все эти истории просто фальшивы, и чем чаще об этом говорится понятным языком, тем лучше.

У них были расхождения по этому вопросу и прежде. Ленивый, не желающий сейчас спорить, Маркус с грустью понял, что чаепитие окончено. Он слегка повернулся к огню, вытирая пальцы крахмальной полотняной салфеткой, и пробормотал:

— Завтра же я пойду повидать Карела и настою на встрече с Элизабет.

— Правильно, и не соглашайся на «нет» в ответ. В конце концов, ты уже звонил три раза. Я могла бы пойти с тобой, так как давно не видела Мюриель, и мне бы хотелось поговорить с ней откровенно. Если возникнут какие-нибудь проблемы с Элизабет, я считаю, тебе следует обратиться за консультацией к юристу. Я не говорю, что твоего брата следует лишить духовного сана или выдать ему удостоверение о психическом расстройстве. Но его нужно заставить вести себя как разумное существо. Пожалуй, я поговорю об

этом с епископом, мы часто встречаемся в жилищном комитете.

Нора встала и собирала тарелки, покрытые теперь золотистыми крошками от торта и остатками сливового джема. Маркус грел руки у огня. В комнате стало холоднее.

— Интересно, ты слышал эти гнусные слухи о Кареле, — спросила Нора, — что у него роман с этой цветной служанкой?

— С Пэтти? Нет. Это невозможно.

— Почему же невозможно?

Маркус хихикнул:

— Она слишком толстая.

— Не будь таким легкомысленным, Маркус. Должна сказать, я никак не могу привыкнуть к тому, что ее зовут О'Дрисколл, когда она черная, как твоя шляпа.

— Пэтти не такая уж черная. Да это и не имеет значения.

До Маркуса доходили слухи, но он им не верил. Своеобразие Карела заключалось совсем в другом, он был целомудренным человеком, даже пуританином. В этом Маркус знал своего брата так, как знал себя. Он встал.

— О, Маркус, ты же не собираешься уйти, не правда ли? Почему бы тебе не остаться на ночь.

Не хочешь же ты проделать весь путь назад до Эрлз-Корт в этом ужасном тумане!

— Надо идти, много работы, — пробормотал он. А затем, минут десять спустя, он уже шел по покрытому инеем тротуару, и его одинокие шаги глухо звучали под густым покровом тумана. Он совершенно забыл о Норе и чувствовал только теплое зерно радости в сердце при мысли, что снова увидит Элизабет.

Глава 3

— Извините за беспокойство. Меня зовут Антея Барлоу. Я из пастората. Не могла бы я повидать священника на минутку?

— К сожалению, священник никого сейчас не принимает.

— Может, я смогла бы тогда оставить ему записку? Видите ли, я действительно…

— Боюсь, он недостаточно здоров, чтобы заниматься письмами. Может, вы зайдете попозже?

Пэтти решительно закрыла дверь перед причитающей, слегка трепещущей фигурой в тумане. Она была твердым привратником. Привыкнув к такого рода сценам, в следующую минуту она уже забыла о ней. Наверху раздался звон маленького колокольчика, которым Элизабет обычно вызывала Мюриель.

Надев тапочку, которая слетела, когда она проходила через холл, Пэтти направилась назад к кухне.

Пэтти нервничала и испытывала беспокойство. Постоянный шум подземной железной дорога сотрясал ее днем и нарушал сон по ночам. Со вре-

мени приезда их окружало кольцо тумана, и она понятия не имела, как выглядит дом священника снаружи. Казалось, что у него вообще нет облика и подобно невообразимым вращающимся мирам, о которых она читала в воскресных газетах, он впитывал в себя все остальное пространство. Осмелившись на второй день выйти, она, к своему удивлению, не обнаружила других зданий поблизости. Сквозь туман время от времени прорывались таинственные звуки, но ничего не было видно, кроме маленького кружка тротуара, на котором она стояла, и красного, покрытого изморозью кирпичного фасада дома священника. Боковая стена дома забетонирована. Он был отсечен от другого здания во время войны. Рука Пэтти, обтянутая перчаткой, коснулась угла, где бетон соприкасался с кирпичом, а затем справа она заметила очертания и предположила, что это, видимо, башня, построенная Кристофером Реном, но в густом желтом тумане смогла рассмотреть только зияющее отверстие двери и окно.

Пройдя немного вперед, она обнаружила, что находится на пустыре. Здесь не было домов, только совершенно плоская поверхность подмерзлой грязи, по которой проходила дорога. Там и сям виднелись бугорки, покрытые жестким

промерзшим брезентом. Место казалось большой строительной площадкой, теперь заброшенной. Сбившись с пути, Пэтти сошла с тротуара, под ее ногами захрустел лед, оставляя маленькие углубления в замерзшей траве; небольшие лужи под своими ледяными куполами выглядели как викторианские орнаменты. Испуганная одиночеством и тем, что потеряла дорогу, она поспешила вернуться под крышу дома. По пути она никого не встретила.

Проблема покупок оставаясь пока неразрешенной. Посещение магазинов было всегда для Пэтти обычным делом, основной формой контакта с миром. Не организованное и не систематизированное, оно являлось ритуалом, а выбежать снова за чем-то забытым доставляло ей маленькое удовольствие. Без него она чувствовала себя как кура в кастрюле. Какое-то инстинктивное торопливое движение не допускалось ею. Оказалось, что поблизости от дома священника нет магазинов, и она еще не нашла кого-нибудь, кто занимается доставкой. Пока ей пришлось положиться на Юджина Пешкова, который каждое утро уходил в туман, унося список Пэтти, и позже возвращался со всеми ее заказами. Вид высокого мужчины с набитыми сумками в руках, улыбающегося в

ожидании одобрения, действовал на нее успокаивающе. Только теперь Пэтти следовало быть более практичной и ничего не забывать. Хозяйственные нужды были в действительности очень простыми, даже спартанскими. Карел относился к вегетарианцам и питался тертой морковью, яйцами, сыром и печеньем из непросеянной муки. По его собственному желанию пища была достаточно однообразной. Пэтти ела бобы, тосты и сосиски. Она не знала, чем питались Мюриель и Элизабет. Элизабет не хотела, чтобы Пэтти приходила в ее комнату, и девушки, следуя давней традиции, готовили себе сами на горелке. Это был еще один знак их принадлежности другому роду.

Пэтти родилась тридцать лет назад в мансарде маленького дома в мрачном промышленном городке центральной Англии. Она не была желанным гостем для своей матери, мисс О'Дрисколл. Сама появившаяся при сходных обстоятельствах, мисс О'Дрисколл по крайней мере знала, что ее отец был ливерпульским рабочим, а дедушка по материнской линии — крестьянином в графстве Тирон. Мисс О'Дрисколл была протестанткой. Определение личности отца Пэтти во время беременности мисс О'Дрисколл (которая не была первой) стало поводом для интересных размыш-

лений. Появление ребенка кофейного цвета решило вопрос об отцовстве. Мисс О'Дрисколл отчетливо вспомнила ямайца. Но так как она сильно выпивала и не могла припомнить его фамилию, мысль о том, чтобы Пэтти носила ее, никогда не возникала, и любом случае ее отец уехал в Лондон с целью найти работу в метро, когда Пэтти крошечной частицей, в которой еще только таились виды на будущее, находилась в животе мисс О'Дрисколл.

Вскоре Пэтти «понадобились заботы и защита». Мисс О'Дрисколл оказалась любящей матерью, но не слишком преданной. Она пролила свои обычные слезы и издала привычный вздох облегчения, когда маленькое коричневое отродье забрали от нее и поместили в приют для сирот. Она изредка навещала Пэтти, не скупилась на слезы и увещевала ее стать хорошей девочкой. Время от времени она обращалась к идее спасения и, когда происходили эти приступы, пылко рассуждала у дверей приюта о святой крови и даже распевала религиозные песни. Некоторое время спустя, снова вступив на путь семейной жизни, она прекратила свои визиты и умерла от болезни печени вместе с нерожденным младшим братом Пэтти.

Через все детство Пэтти пронесла страдание, настолько постоянное, что не смогла узнать в нем болезни. Никто не был особенно жесток с ней. Никто не бил ее и даже не кричал на нее. Оживленные, расторопные улыбающиеся женщины удовлетворяли ее потребности, застегивали и расстегивали ее одежду, когда она была маленькой, снабжали ее гигиеническими подушечками и крайне упрощенной информацией о взаимоотношении полов, когда она стала старше. Хотя она была очень отсталой, учителя проявляли терпение к ней. Классифицировав Пэтти как умственно отсталую, ее перевели в другую школу, где учителя проявляли еще больше терпения. Конечно, другие дети дразнили ее, потому что она была «черной», но не слишком задирали. Чаще всего они ее игнорировали.

С той минуты, когда человек в униформе забрал ее из рук пьяно всхлипывающей мисс О'Дрисколл, никто не любил ее. Никто не прикасался к ней, никто не смотрел на нее с пристальным вниманием, которое дарует только любовь. Среди массы детишек она боролась за внимание, поднимая свои маленькие коричневые ручки, как будто она тонула, но глаза взрослых всегда рассеянно смотрели мимо нее. Ее никогда не

вылизывали, как более удачливых детей. Так медведица вылизывает своих детенышей. Мать Пэтти, правда, когда-то по-своему любила ее, и подросшая Пэтти с непостижимо тоскливой благодарностью вспоминала ее объятия. Она несла в своем сердце этот клочок, который едва ли можно назвать воспоминанием, и ночами молилась за свою умершую мать, несмотря на ее грехи, — священная кровь оказалась действенной, как и надеялась мисс О'Дрисколл.

И конечно, Бог любил Пэтти. Проворные женщины научили ее этому очень рано, направляя ее к Богу, когда им нужно было (а это происходило всегда) заняться другими делами. Бог любил ее великой собственнической любовью, и Пэтти, конечно, тоже любила Бога. Но их взаимная любовь не помешала постоянному несчастью довести ее почти до звероподобного состояния, которое напоминало слабоумие. Намного позже какая-то милосердная сила, которой Пэтти в своем невежестве поклонялась, смыла, как губкой, эти годы. Повзрослев, Пэтти едва могла припомнить свое детство.

Когда ей исполнилось четырнадцать лет, едва научившись читать и писать, она оставила школу. Оказавшись неспособной к дальнейшему

обучению, она поступила в услужение. Ее первые работодатели стали продолжением ее учителей — веселые, просвещенные, свободомыслящие люди. Более чувствительной и обидчивой Пэтти казалось, что они превращают ее страдание в свое веселье в ходе постоянного обменного процесса. Фактически они много сделали для нее. Они научили ее жить дома, убедили, что она неглупа, даже внесли в ее жизнь книги. Они были очень добры к ней, но главный урок, который она вынесла из их доброты, был урок цветного барьера. Ребенком она не ощущала различия между несчастьем быть цветной и несчастьем быть Пэтти, девочкой она освоилась со своей изолированностью. Ее хозяева обращались с ней особым образом, потому что она была цветной.

Пэтти теперь стала ощущать свой цвет, чувствовать его как патину. Она постоянно читала это в глазах окружающих. Она выставляла перед собой руки, как будто покрашенные несмывающейся краской в темно-коричневый цвет, рассматривала бледно-серые ладони и чуть красноватый оттенок ногтей. Она в замешательстве, почти с изумлением смотрела в зеркала и видела свое круглое плоское лицо, большой рот, складывающийся в едва заметную изогнутую линию. Когда

она улыбалась, были видны все ее сверкающие белые зубы. Она трогала завитки сухих черных волос, вытягивала их, пыталась выпрямить, а затем наблюдала, как они, подобно пружинам, снова превращаются в спирали. Она завидовала гордым индианкам, с тонкими чертами лица, в сари, с драгоценными камнями в ушах, которых иногда видела на улице, и сожалела, что не может с такой же гордостью носить свою национальность. Но затем она поняла, что у нее нет национальности, кроме той, что она цветная. И когда она видела нацарапанные на стенах надписи «Wogs[6], убирайтесь домой», она относила их к себе с такой же серьезностью и благочестием, с какими принимала причастие в церкви, которую посещала по воскресеньям. Иногда она думала о Ямайке, которую представляла себе как сцену в цветном кино, когда на фоне тихой музыки бьются о берег волны и качаются пальмы. В действительности Пэтти никогда не видела моря.

Конечно же, в городе были и другие цветные. Пэтти стала обращать на них внимание и изучать острым взглядом их черты и различные оттенки цвета. Теперь для нее существовали только две

[6] Примечания: 6

Первоначально — вежливое обращение к цветным. Впоследствии приобрело характер оскорбления.

расы — белые и черные. Не все полукровки были такими темными, как она; ее отец, наверное, был очень черным, раз добавил столько смуглости своей дочери-полуирландке. Пэтти размышляла об этих различиях, хотя и не знала, какое придать им значение. Она не чувствовала единства с другими цветными, даже если они были явно похожи на нее. Белый цвет кожи, казалось, объединял всех белых людей в прочный союз, черный же цвет разъединял, обрекая на одиночество всех обладателей его в зависимости от собственного оттенка. Четкое сознание этого одиночества стало первой мыслью повзрослевшей Пэтти. Она припомнила строчку из стихотворения, которое встревожило ее в школе: «Я черен, но моя душа бела». Пэтти решила: будь она проклята, если ее душа бела. Если у нее есть душа и она имеет цвет, то она, безусловно, кремовато-коричневая, чуть темнее, чем cappuccino.

В конце концов она обнаружила в себе крупицу гордости, которая, наверное, появилась из той капли любви, которую бедная мисс О'Дрисколл слепо подарила своей крошечной дочке. Пэтти начала размышлять. Она научилась хорошо читать, занимаясь самостоятельно в своей комнате по вечерам. Она прочитала множество роман-

тических книг, включая те, которые ее учили называть классическими, она прочитывала женские журналы от корки до корки, она даже читала поэзию и переписывала некоторые стихи в черную тетрадь. Она любила стихи, напоминающие песни или заклинания, или колыбельные, которые можно напевать. Спартанцы садились на мокрую от морских брызг скалу и причесывали свои волосы. Прочитав это, Пэтти считала, что она знает все, что нужно, о спартанцах. Мир искусства существовал для нее во фрагментах, как в калейдоскопе, где возникала красота, почти не имеющая формы. Она копила строфы поэм, мелодий, лица на картинах: смеющиеся кавалеры, голубые мальчики, которые с радостью узнавались, легко забывались. Из своих познаний она не выносила каких-либо общих понятий. Что же касается остального, благочестивое христианство низкой церкви[7] дало ей космологию. И вот, о чудо! Кровь Христа струится в небесном своде. Идея искупления, смутная и в то же время для нее реальная, оставалась с ней как особое утешение. Все могло быть плохо, могло никогда не стать хорошо, но мир не мог быть таким ужасным каким

[7] Примечания: 7

Направление в англиканской церкви, отрицательно относящееся к ритуальности.

часто казался.

Все это время Пэтти вела крайне уединенную жизнь. Она даже не задумывалась о том, чтобы найти компанию, и когда хозяева пытались уговорить ее вступить в общественный клуб, она в ужасе отшатывалась от этой идеи. Ей исполнилось семнадцать. Она стала пользоваться косметикой и делать много разных вещей, которые ей советовали журналы, регулярно ходила в парикмахерскую, чтобы распрямить волосы, но это держалось в тайне. Чернокожие мужчины посматривали на нее украдкой с некоторой долей враждебного вожделения, которое она понимала. Белые, которых она находила омерзительными, присвистывали ей вслед на улицах. А потом ее добрые, либерально настроенные хозяева сказали ей, что они собираются переехать в Лондон и не нуждаются больше в ее услугах, но они дадут ей отличные рекомендации. Бюро по трудоустройству порекомендовало ее на службу в дом священника, неподалеку от города. Так Пэтти вошла в жизнь Карела Фишера.

В это время Элизабет было шесть лет, а Мюриель — одиннадцать. Родители Элизабет умерли, но жена Карела, Клара, была еще жива. Пэтти не могла припомнить, беседовала ли с ней Клара.

Когда она вспоминала прошедшее, ей казалось, что ее тотчас же принял Карел, как будто длинная рука протянулась через дверной проем и успокаивающе приласкала ее, прежде чем она переступила порог. Присутствие Карела было равносильно для нее присутствию Бога. И как благословенная душа, она осознала свое счастье не через то, что она ясно видела, но ощутив свое тело возвеличенным. Карел тотчас же к ней прикоснулся, он ласкал ее, любил ее. В действительности полубессознательные чувства Пэтти едва ли отличали эти понятия одно от другого. Карел завладел ею с удивительной естественностью и приручил ее прикосновением и добротой, как можно приручить животное. Пэтти расцвела. Божественные руки Карела создали из нее богиню, темнокожую владычицу, чье тело сверкало пурпурным блеском, прекрасную, как Парвати при приближении Шивы. Весь год Пэтти смеялась и пела. Она полюбила других домочадцев, особенно Элизабет, воспринимая их естественно, как собственность своего хозяина. Она ухаживала за детьми и подчинялась Кларе. Но то, что строило дом и делало его высоким, как башни Илиона, что создавало золотую вселенную, звенящую от радости, — все исходило от нежной

привязанности Карела, его мимолетного прикосновения к ее руке; когда он говорил с ней, его пальцы проводили по ее шее, потягивали прядь волос, крепко сжимали ее запястья, шутливо похлопывали по щеке. Пэтти чувствовала, что могла быть счастлива этим всегда. Но однажды с той же удивительной естественностью Карел уложил ее в свою постель.

Как об этом событии сразу же стало известно всем домашним, Пэтти так никогда и не узнала. Но это было тотчас мрачно воспринято, как будто само место окрасили черной несмываемой краской, как цвет кожи Пэтти. Дети восприняли это по-своему и замкнулись в безжалостном детском молчании. Клара знала это, и ее отношение к Пэтти изменилось внешне едва заметно и в то же время полностью. Ничего не было сказано, но ощущалось полное осуждение. Пэтти слонялась из угла в угол в ожидании увещеваний, объяснений, хотя бы прямого взгляда, но не находила ничего. С этого времени ей суждено жить в мире наедине с Карелом.

Пэтти была настолько удивлена тем, что произошло, так смущена своим новым состоянием и так напугана последствиями, что прошло время, прежде чем она осознала, что Карел действитель-

но влюблен в нее. Когда она поняла это, неистовое счастье овладело ею, темное экзотическое счастье, совсем не похожее на прежнюю невинную радость, но очень сильное. Тьма вошла в нее, как рой пчел. Пэтти стала сильнее и тверже и смело посмотрела в лицо домочадцам, готовая стать их врагом. Она испытывала чувство вины, но несла его смело, как символ своего призвания.

Требовала ли Клара объяснений от своего мужа, Пэтти так и не узнала. Она никогда бы не осмелилась расспрашивать Карела, чье молчание обо всем, что касалось семьи, всегда оставались мягким, но повелительным. Но Карел ухитрялся строить свою связь с таким уверенным изяществом, что убедил Пэтти: раз он явно не чувствовал себя виноватым — видимо, ему никогда не приходилось прежде играть такой роли. В доме все немного боялись Карела, и теперь, когда их отношения утратили невинность, Пэтти вскоре тоже стала испытывать некоторый страх.

Клара заболела. Когда Пэтти приносила поднос с чаем или обедом, на нее с безмолвным укором смотрели глаза, ставшие еще больше и печальнее. Пэтти отвечала пустым, холодным взглядом, который она теперь устремляла на всех, кроме Карела. Он сидел на кровати своей жены, погла-

живая ее руку и улыбаясь Пэтти через ее голову, покоившуюся на подушках. Доктора тихо говорили с Карелом в холле. Карел сказал Пэтти, что он скоро овдовеет, и когда он будет свободен, то сделает ее своей женой.

Пэтти не горевала из-за Клары. Она не огорчалась из-за детей, с плачем выходивших из комнаты, где Клара с каждым днем угасала. Пэтти высоко держала голову и с жестокостью сильного желания смотрела мимо ужаса настоящего во все оправдывающее, все примиряющее будущее, когда она станет миссис Карел Фишер. Ее судьба твердо поддерживала ее — более прочная сила, чем сентиментальность или вина. Она чувствовала себя избранницей, коронованной принцессой. Она будет тем, ради чего была рождена, пусть миллион женщин умрет и пусть миллион детей ломает в горе руки.

Клара умерла. Карел передумал. Почему? Пэтти никогда не узнала этого. Наверное, она допустила какую-то ошибку. Какую? Эти размышления стали для Пэтти хлебом насущным в последующие годы. Она улыбалась на похоронах Клары. Могло ли быть так? Или, в конце концов, во всем виноват цвет ее кожи, который Карел принимал у наложницы, но не у супруги? Или, может

быть, недостаток у нее образования, или голос, или что-то связанное с личной гигиеной, или несвоевременная простуда? А может, потому, что позволила Карелу застать себя в нижнем белье? Он по-пуритански строго относился к тому, что предшествовало физической близости. Или это было сожаление о Кларе, или Мюриель, тихо ненавидевшая Пэтти, каким-то образом отговорила отца от подобного безрассудства? Пэтти никогда не узнала и, конечно, ни разу не спросила. Молчание Карела покрывало все, как море.

Карел по-прежнему приходил к ней в постель, Пэтти все еще вздрагивала от мрачного снятия одежды, когда темная сутана обнажала нагое тело. Пэтти любила его. Он был для нее, как и прежде, целым миром. Только теперь появилось некоторое несогласие в подчинении ему. Она стала понимать, сначала смутно, затем все более осознанно, что значит быть рабом. У нее появилась способность обижаться. Карел создал своего рода культ Клары — повсюду фотографии и постоянные упоминания, наполовину иронические, наполовину серьезные, о своей с опозданием признанной святой. Пэтти также обижала уверенность Карела в социальном превосходстве Мюриель и Элизабет — раньше она этого почти

не замечала. Но обострившееся сознание не принесло с собой порыва к восстанию. Она лежала рядом с ним, Парвати рядом с Шивой, и с широко открытыми глазами в ночи размышляла о своей вине. Это чувство как будто ждало благоприятного случая. Как только Пэтти поняла, что Карел не женится на ней, она стала испытывать все большее чувство вины. Преступление, хорошо вознагражденное, не кажется таким порочным, как ничем не оплаченное. По ночам она сжимала руки, понимая, что причинила Кларе много боли. Клара умерла в горе и отчаянии из-за Пэтти. А ей, как немой укор, осталась неумолимая враждебность двух девочек. Это сначала не волновало Пэтти, но теперь стало мучить ее. Те слабые и тщетные попытки помириться со своими врагами путем лести и смирения, которые она время от времени предпринимала, привели только к тому, что она невзлюбила их еще больше. Особенно Элизабет, избалованная и испорченная Карелом, казалась Пэтти живым оскорблением ее презренной темнокожести. Когда девочки стали старше и еще больше сблизились из-за болезни Элизабет, они составили своего рода объединенный фронт для ее безжалостного осуждения. Два этих бледных, холодных, непрощающих лица

преследовали Пэтти по ночам. Она поникла, раскаялась, но раскаялась в одиночестве, ничего не могла поделать со своим раскаянием и напрасно шептала: «Разве Господь не избавил Даниила, так почему бы не спасти каждого человека?» Однажды так же таинственно и так же естественно, как началось, внимание Карела прекратилось. Он покинул ее постель и больше не возвращался. Пэтти испытывала почти что облегчение. Она погрузилась в печальное безразличие, в котором было нечто исцеляющее. Она перестала следить за своей внешностью и обнаружила, что растолстела. Она медленно переходила с места на место и, когда работала, что-то ворчала. Все это время она не отказывалась от своей религии. Каждую ночь она бормотала молитвы, обращаясь, как в детстве, с настойчивыми просьбами: «Иисус, заботливый пастырь, услышь меня». Возможно, Бог ее детства сможет сохранить в ней место для невинности. Каждое воскресенье она преклоняла колени, чтобы принять причастие из рук, которые окружили ее ореолом, и не чувствовала себя богохульницей. Вера Карела, как и многое в нем, всегда оставалась тайной для нее, она верила в его веру так же свято, как в Бога. То, что он, казалось, никогда не сомневался как священник,

равно уверенный и в церкви, и в постели, сначала придало Пэтти какую-то безмятежность, напоминающую цинизм. Когда Карел перестал быть ее любовником и Пэтти смогла раскаиваться в содеянном, она стала более набожной, его же поведение приводило ее в замешательство.

Карел, бывший до сих пор довольно праведным, хотя и не слишком восторженным, начал в это время совершать незначительные, но озадачивавшие своей эксцентричностью поступки, повредившие его доброму имени в городе. Он стал затворником, отказывался принимать посетителей и отвечать на письма, предоставив это Элизабет, которая иногда играла роль его секретаря. Накопив груду корреспонденции, она время от времени посылала ответы. Он вводил свои собственные изменения в церковные службы, даже литургию. Как-то начал проповедь словами: «Что, если я скажу вам, что Бога нет?» — а затем заставил своих прихожан беспокойно ерзать в течение долгой паузы. А однажды он провел службу, стоя позади алтаря. Он смеялся в церкви.

Такие проявления скорее пугали, чем смущали Пэтти. Так как Карел для нее оставался неизменно привлекательным, она даже его выходки воспринимала как нечто естественное. Хотя ее и

беспокоило что-то происходившее теперь в его душе, порой его сухость пугала ее. Он оставался холодным, сдержанным, даже осторожным. Ей казалось, что у него не было крайностей, кроме одной, которой она пока не могла найти названия. Скорее всего, полагала она, Карел терял свою веру. Пэтти свою не потеряла, но она стала для нее скорее талисманом или просто фактом. Ее вселенная изменилась и продолжала меняться. «У жизни нет внешней стороны», — однажды сказала она себе, едва понимая, что имеет в виду. Ее утренняя молитва по пробуждении, молитва, которая облегчала бремя ночного ужаса, стала туманнее и более формальной. Священная кровь потеряла часть своей магической силы, и Пэтти больше не чувствовала простой личной связи с Богом, хотя скрытая покровом фигура высилась над ней, призывая согрешившую на праведный путь.

Теперь она изредка подумывала о том, чтобы уйти от Карела, но эта мысль напоминала мечту узника — стать птицей и улететь сквозь стену. Любовь, страсть и чувство вины окутывали ее все больше и больше, и она лежала, вялая как куколка, чуть шевелясь, но не в состоянии переменить место. Она была очень несчастна и бесконеч-

но волновалась о Кареле. Вражда с девочками отравляла ее существование. И в то же время она вообразить себе не могла, как оставит Карела ради обычной жизни где-то в другом месте. И хотя ее иногда охватывало отчетливое острое желание стать матерью, она не представляла себе другого мира, где могла бы невинно любить. Она ощущала себя порочной, сломленной и неспособной теперь к обычной жизни. В прошлые времена такие создания, как она, находили убежище в монастыре. Иногда она пыталась представить себе современный эквивалент. Она уедет далеко-далеко, посвятит себя служению человечеству и с тех пор и навсегда станет Патрицией. Сестрой Патрицией, может, даже святой Патрицией. Она читала газеты и представляла себе безбрежное море человеческих страданий. Здесь же она видела и себя, очистившуюся, возрожденную, безымянную, помогающую несчастным. Иногда она даже думала, что примет благородную мученическую смерть, возможно, будет съедена неграми в Конго.

В глубине души Пэтти сознавала фальшь этой мечты. Она понимала, что с течением времени ее связь с Карелом стала сильнее, чем прежде. Она не была предоставлена себе. Физическая связь

между ними все еще, как паутина, затягивала дом. Карел, когда-то танцевавший с ней, танцевал теперь один под «лебединую» музыку. Она видела неясную фигуру, двигающуюся во тьме его комнаты, дверь которой он обычно оставлял приоткрытой, и чувствовала уверенность, что он танцует для нее, танцуя, соединяется с нею. Она ощущала его присутствие, а он — ее. Хоть и другим способом, она все еще оставалась его возлюбленной. Казалось, и Карел нуждался в ней больше, чем прежде. Разговаривали они немного, но и ранее они никогда не говорили долго. Они существовали вместе в постоянном общении, напоминавшем общение животных: взгляды, прикосновения, присутствие и полуприсутствие.

И в этой близости Пэтти наконец почувствовала какой-то огромный страх в Кареле, страх, наполнивший ее ужасом и отвращением. Теперь ей казалось, что, несмотря на его своеобразную веселость, она всегда видела его душу в аду. Карел становился все более испуганным, и он нес свой страх с собой как нечто, природой данное. Его страх проявлялся в том, что он видел в доме животных — крыс и мышей, но Пэтти была уверена, что их там не было. Порой он жаловался, что мимо прошмыгнуло что-то черное. Пэтти знала,

что подобные видения происходят от пьянства, но Карел не пил. В любом случае Пэтти понимала: то, что пугало Карела, не принадлежало к материальному миру даже в том смысле, в каком принадлежали розовые слоны.

А затем совсем неожиданно наступил переезд в Лондон. Он стал ужасающей перспективой, ужасающим событием. Пэтти только теперь осознала, насколько ее таинственный мир зависел от простоты окружения из-за его подобия обычной действительности. Как индус, посвященный в тайные религиозные обряды, чтобы скрыть сверхъестественный блеск своего тела, плотно обматывается в ткань, так и Пэтти надевает свое пальто длиной три четверти, красную велюровую шляпку и замшевые перчатки, чтобы посетить супермаркет. Для нее имело значение, что она делала покупки в определенных магазинах, болтала со знакомыми женщинами, ходила в один и тот же кинотеатр, распрямляла волосы все в той же парикмахерской, где были определенные журналы. Существовало некое надежное пространство, где Пэтти знали во всей ее обыденности и где зловещее пурпурное свечение было не так заметно. О них с Карелом немного посплетничали, но вскоре слухи прекратились, и

никто не допускал грубости по отношению к ней. Пэтти жила в этом повседневном мире, занимая в нем свое место. Однажды, выходя из церкви, она услышала, как одна женщина произнесла:

— Кто это?

— Цветная служанка из дома священника. Говорят, она просто сокровище.

Пэтти боялась, что, как какая-нибудь реликвия, которая в конце концов оказывается состоящей из пыли и паутины, так и ее совместное существование с Карелом может внезапно рассыпаться, если они переедут в другое место. Она пришла в смятение, и все трудности, казалось, в равной степени несли угрозу. Куда она теперь будет ходить распрямлять волосы? И где найдет уборщицу, такую же хорошую, как миссис Поттер? И как в такой пустыне, в какой находится дом священника, она сможет кормить Карела? Юджину Пешкову все еще не удалось достать моркови. Юджин, большой, дружелюбный, спокойный, которого, казалось, ничуть не удивлял феномен Пэтти, был единственным утешением в этой ситуации.

Шел четвертый день, а туман не уменьшался. Даже в полдень было темно, а дом оставался по-прежнему чрезмерно холодным, хотя Юджин уверял ее, что центральное отопление в исправ-

ности. Пэтти не впустила миссис Барлоу и забыла о ней. А теперь у парадной двери снова зазвенел звонок.

Пэтти приоткрыла дверь и увидела Маркуса Фишера, который уже несколько раз пытался дозвониться, в сопровождении женщины, которую Пэтти смутно припомнила. Женщина заговорила:

— Доброе утро, Пэтти. Я мисс Шэдокс-Браун, ты, наверное, меня помнишь, я навещала Мюриель там, где вы жили раньше, и пришла снова повидать ее. А мистер Фишер намерен навестить священника и Элизабет.

Пэтти приставила колено к двери:

— К сожалению, мисс Мюриель нет дома, а священник и Элизабет никого не принимают.

— Боюсь, мы не можем принять такого ответа, — сказала мисс Шэдокс-Браун, поднимаясь на ступень. — Впусти нас на минуту, и мы как следует все обсудим, а?

— Извините, — возразила Пэтти, — мы не принимаем сегодня посетителей.

Она захлопнула дверь прямо перед носом мисс Шэдокс-Браун, едва не прищемив ее уже просовывающуюся ногу.

Пэтти вернулась в темный холл. Frere Jacques,

frere Jacques, dormez-vous?

Она поймала белую вспышку бумажной птички, скомкала ее хрустнувшие в руке крылья и посмотрела вверх на своего хозяина, высокого и крепкого в черной сутане, возвышавшегося как темная башня. Подземный поезд прогрохотал под ними, возможно пронося отца Пэтти, занятого своей ежедневной заботой.

Глава 4

— Мюриель.

— Да.

Когда Мюриель была еще совсем маленькой, отец попросил ее называть себя Карелом, она так и не смогла этого сделать и очень рано перестала его вообще как-либо называть.

— Не могла бы ты зайти на минутку?

Карел всегда говорил «Зайди сюда», словно приглашая не к себе, а в определенное место. Во фразе чудилось что-то угрожающее, как будто следовало ждать удара.

Мюриель нерешительно остановилась в дверях. Она боялась своего отца.

— Подойди поближе, пожалуйста.

Она вошла в кабинет. Книги, принесенные из холла, занимали черную кушетку, набитую конским волосом, и половину пола, покрытого едва различимыми темными пятнами. Единственная переносная лампа освещала на столе круг потертой красной кожи и стакан молока, а чуть выше и более смутно высвечивала красивое лицо Карела, которое всегда казалось Мюриель

немного застывшим, как бы покрытым льдом. Король троллей.

— Мне хотелось бы знать, Мюриель, какие шаги ты намерена предпринять, чтобы найти себе работу в Лондоне.

Мюриель срочно обдумывала ответ. Она не собиралась открыть отцу правду, что намерена не работать месяцев шесть и посвятить все свое время поэзии. Мюриель с детства сочиняла стихи, и ее уже давно мучил вопрос, действительно ли она поэт? За эти шесть месяцев она бы, так или иначе выяснила это раз и навсегда, предоставив последний шанс демону поэзии. В конце концов, единственное спасение в этом возрасте — стать художником. В данный момент она работала над большой философской поэмой в стиле «Cimetiere Marin»[8] и уже написала сорок семь строф.

— Я все обдумаю, — сказала она.

— Хорошо. У тебя не будет затруднений в том, чтобы получить должность секретаря в городе. — Карел сказал «получить должность», а не найти работу. Мюриель обратила внимание, что с ней он употреблял такую бюрократическую манеру разговора.

---

[8] Примечания: 8
Морское кладбище (фр.).

— Я осмотрюсь.

— Ты идешь к Элизабет?

— Да.

— Хорошо. Кажется, звенит ее колокольчик. Иди тогда.

Когда Мюриель подошла к двери Элизабет, она услышала позади голос, мягко позвавший: «Пэттикинс». Она нахмурилась, осторожно постучала и затем вошла.

— Привет тебе.

— Привет тебе.

Элизабет сидела на полу, курила сигару и пыталась собрать головоломку, которая занимала девушек уже почти два месяца. Они с риском рассыпать привезли ее в Лондон полусобранной, в багажном отделении нанятой для переезда машины.

— Так трудно сделать море — все фрагменты одинаковые. Картина на головоломке изображала парусные суда во время морской битвы.

Элизабет продолжала курить и перебирать фрагменты головоломки, а Мюриель села у зеркала французского гардероба и наблюдала. Ей нравилось видеть толстый коричневый цилиндр сигары, подрагивающий между тонких и белых, как бумага, пальцев.

Элизабет была в расцвете красоты. С тех пор как заболела, она всегда одевалась просто — черные брюки и полосатая сорочка, и тем не менее сохранила слегка экзотический окрыленный облик любимого пажа. Ее прямые бледно-желтые волосы падали ровными волнами на плечи. Декоративные, с металлическим блеском, они напоминали средневековую прическу. Ее удлиненное узкое лицо тоже было бледным, иногда оно казалось совсем белым, но с золотистым оттенком, напоминающим южный мрамор. Постоянное пребывание в стенах дома сделало ее похожей на растение, лишенное света, но все же в бледности сохранялся какой-то блеск. Иногда вся ее голова казалась странно выбеленной, как будто вокруг нее сиял холодный свет. Только большие глаза, темные, серо-голубые, сверкали, и создавалось впечатление, будто сквозь пустые глазницы статуи проглядывает грозовое небо.

— Извини, что позвонила. Мне просто стало скучно. Не помешала?

— Ничуть.

— Какие новости la-bas[9]?

— Ничего особенного. Этот ужасно милый рус-

---

[9] Примечания: 9
Там внизу (фр.).

ский принес нам еды. Наконец-то он понял, что мы с Пэтти две сепаратные организации.

Предметом гордости для Мюриель было не позволять Пэтти прислуживать ей. Пэтти, радовавшаяся смерти Клары, вызвала в Мюриель ненависть, которую время слегка притупило, превратив в привычку. Когда она была моложе, она предприняла одну-две попытки простить Пэтти, но в них не было милосердного таинства прощения. Иногда она жалела несчастное темнокожее животное, и все. Иногда пыталась заставить себя осознать вину отца. Но само устройство ее вселенной делало вину Карела невидимой. Хотя она с неприязнью замечала, что ее отец, казалось, извлекал какое-то сардоническое удовольствие из непримиримой вражды между его служанкой и дочерью.

— Ты потеряла место, черт тебя побери. — Мюриель машинально закрыла том «Илиады», лежавшей рядом с ней на полу. Знание греческого добавляло Элизабет еще больше привлекательности. Мюриель жалела теперь, что не учила греческий. Она раскаивалась и в том, что не поступила в университет. Она чувствовала себя старой и о многом сожалела.

— Извини. Я немного нервничаю. У меня такое

ощущение, будто мы находимся в осаде. Туман по-прежнему густой.

— Знаю. Довольно волнующе. Я даже не побеспокоилась отдернуть занавески. Все равно как ночью.

Новая комната Элизабет, ярко освещенная несколькими лампами, уже стала похожа на прежнюю. Она, как и та, напоминала по форме букву L, кровать стояла в нише, наполовину скрытая китайской ширмой. Немного повернув голову, Мюриель могла увидеть в зеркале самый конец кровати. Простыни в беспорядке свешивались с нее, она производила впечатление гнезда из перьев и шелка и напоминала восточную кушетку. Длинный книжный шкаф, уже заполненный и приведенный в порядок, занимал ближайшую стену. Между гардеробом и дверью стоял рабочий стол Элизабет с ее маленьким радиоприемником и пишущей машинкой, которую она называла «собакой». В камине горел неяркий огонь. К нему был обращен обтянутый розовым бархатом шезлонг, к которому сейчас прислонилась спиной Элизабет, отдыхая от головоломки; Элизабет настояла, чтобы его приобрели, как только заболела, и Карел, проявив заботу, купил его, невзирая на цену. «Если мне

суждено быть интересной больной, я должна иметь шезлонг», — заявила тогда Элизабет. Мюриель восхитилась, и продолжала восхищаться ее мужеством и жизнерадостностью, с которой она переносила свою трудную судьбу.

— Что хотел Карел? Кажется, я слышала, как он звал тебя.

Мюриель все еще поражало, когда она слышала, как кузина называла его «Карел». Хотя та обращалась к нему так непринужденно с самого раннего детства. Девушки никогда не обсуждали Карела, разве что размышляли иногда — не унесет ли его однажды сам дьявол в преисподнюю.

— Он спросил меня, ищу ли я работу.

— Ты не сказала ему о своих поэтических увлечениях?

— Нет.

Элизабет никогда не просила Мюриель показать ей свои стихи, а когда Мюриель время от времени с чем-то ее знакомила, почти не комментировала. Мюриель расстроила бы враждебная критика, и в то же время немного одобрения ей бы не помешало.

В эти дни Мюриель почти физически ощутила, как меняются ее взаимоотношения с Элизабет. Пять лет, которые разделяли их, в разное время

имели неодинаковое значение. Элизабет всегда была нежным и чистым созданием, сердцевиной невинности в семье. Никакая тень, казалось, никогда не падала на веселость дитя-сироты, веселость удивительно непобедимую и чистую. Даже Пэтти любила ее. Мюриель чувствовала себя одновременно неловкой и готовой нежно защитить Элизабет, когда та нетерпеливо тянула ее за руку вперед сквозь годы детства. Мюриель, обладавшая твердой и непреклонной уверенностью в себе, естественно, считала себя учительницей Элизабет, способной, любящей и преданной. В последнее время Мюриель почувствовала, как равновесие смещается и пятилетний разрыв в возрасте как бы сокращается. По уровню своего развития и образования кузина почти сравнялась с ней, и Мюриель интуитивно ощущала в повзрослевшей Элизабет силу характера не меньше, чем ее собственная. Правда, эту силу та никогда не применяла против нее, даже едва показывала в ее присутствии. Элизабет по-прежнему играла роль веселого зависимого ребенка, чтобы доставить удовольствие Мюриель и, конечно, Карелу, но сейчас в этом непроизвольно ощущалось притворство. Как и раньше, в ней все казалось таким восхитительно мягким и шелковым, но теперь

время от времени проявлялся и проблеск стали.

Эта тихая твердость, по мнению Мюриель, внесла завершающий штрих в красоту Элизабет. Бледное лицо стало печальнее и казалось еще более удлиненным, словно какая-то сила властвовала над ним. Темные серо-голубые глаза, теперь подернутые дымкой, более осознанно смотрели из обжитого и надежно защищенного храма. Мюриель всегда считала Элизабет хорошенькой, но в ее восхищении красотой кузины не было и тени зависти. Мюриель, не имевшая склонности недооценивать себя, знала, что сама не лишена привлекательности. Ее лицо в значительной мере напоминало Элизабет, но без ее чрезмерной бледности и оригинальности черт. Волосы Мюриель, которые она коротко по-мальчишески подстригала, были золотисто-каштанового цвета, а довольно узкие глаза — темными в голубую крапинку. Мюриель не сомневалась в своей красоте, но она согласна была довольствоваться ролью милой и отдавать превосходство Элизабет.

Что касается ума, здесь все выглядело по-другому. Элизабет была скорее способной, чем склонной к размышлениям, умной, но едва ли творческой натурой. Элизабет быстро овладела греческим, а ее латынь превосходила теперь ла-

тынь Мюриель. Но Мюриель одобрила решение Карела, продиктованное частично состоянием здоровья Элизабет, что ей не следует поступать в университет. Элизабет оставалась бесстрастной и уверенной, как и Мюриель в ее возрасте, в своей способности получить образование самостоятельно. И Мюриель радовала возможность сохранить роль наставницы своей кузины, для будущего развития которой она детально разработала план. Она была уверена, что Элизабет и впредь не станет противодействовать ее превосходству. Между ними никогда не возникало ничего, что бы напоминало столкновение характеров. Хотя они часто находили повод накричать друг на друга, все равно их отношения были удивительно совершенными.

Мюриель иногда беспокоило одиночество, которое Элизабет, казалось, воспринимала как нечто естественное. В Мидленде у них был небольшой круг друзей, к которым девушки относились снисходительно и покровительственно в их присутствии и высмеивали в отсутствие. Все молодые люди рано или поздно объявлялись «ужасно тупыми». Они обращались со своими друзьями, как две утонченные молодые принцессы могли обращаться с детьми своих слуг.

В Лондоне можно было надеяться на лучшую компанию, но пройдет немало времени, прежде чем удастся найти подходящих друзей для Элизабет. Карел никогда не предпринимал никаких попыток расширить круг ее знакомств, и сама Элизабет, казалось, относилась с поразительным равнодушием к своему одиночеству. Мюриель несколько озабоченно всматривалась в Элизабет, ставшую подростком, и искала признаки интереса к юношам, зарождающегося тяготения к противоположному полу, но Элизабет только смеялась над своими немногими знакомыми мальчиками. Мюриель тщетно прислушивалась к внутреннему отголоску естественных потребностей и не могла обнаружить ни грана отчаяния в восприятии искалеченной девушки своей нынешней жизни. Только позже в таинственном молчании она почувствовала, что в Элизабет развивается страстная натура.

Мюриель, уже давно убежденная в своей исключительности, в последнее время стала предполагать, что она не создана для общепринятой любовной жизни. Она не только все еще была девственницей, но даже не беспокоилась об этом. Ей ни разу не встречался мужчина ее возраста, который не казался бы слишком мелким

по сравнению с ней. Время от времени ее привлекали мужчины постарше, о чем впоследствии она вспоминала как о глупом сентиментальном эпизоде. Она была влюблена в своего учителя латыни, а позже в главу фирмы, в которой работала. Ее чувства, не встретившие отклика и в действительности даже не замеченные, умерли тихой смертью. Она считала, что страстная любовь не для нее. Ее удовлетворит одинокая судьба художника и мыслителя. И конечно же, энергия ее сердца была обращена на систему, сформировавшую ее взаимоотношения с Элизабет.

Но для ее кузины все со временем может сложиться совсем по-иному. Мюриель твердо в это верила и, несмотря на боль, вызванную таким убеждением, одновременно испытывала и странное воодушевление. Элизабет не была отмечена, подобно Мюриель, печатью исключительности. Однажды Элизабет обретет счастье обычной жизни как принадлежащее ей по праву рождения. Она была слишком прелестной, чтобы проводить свою жизнь в темной, никем не посещаемой, похожей на пещеру обстановке, которую отец Мюриель все настойчивее создавал вокруг себя и в которой Элизабет была действительно единственным источником света. Конечно, Мюриель

подумывала о том, чтобы увезти Элизабет, по крайней мере, эта мысль посещала ее, но она всегда отбрасывала ее как нечто неуместное и преждевременное. Существовала какая-то хрупкость, не в ее отношениях с Элизабет, а во всей ситуации, которая не вынесла бы такого насилия. В конце концов, Элизабет уже заплатила за свое одиночество. Она еще не была готова повернуться лицом к миру, но однажды ее принц, возможно, придет. Или, когда станет ясно, что он необходим, Мюриель скорее сама выберет и воспитает его. Она не воспринимала замужество потерей Элизабет. После стольких лет Элизабет не могла быть потеряна. Они смогут справиться с мужем Элизабет.

Отделив, таким образом, свою судьбу от судьбы кузины, Мюриель утвердила собственное превосходство, которое, как она знала, ляжет на нее большим грузом. Порой ее охватывала паника, когда она медленно скользила прочь от берегов повседневности. Это выглядело как потеря невинности, временами она тосковала, так как не знала простых невинных вещей, бездумных привязанностей, свободного счастливого смеха, собак, пробегающих мимо по улице. Она не могла понять, почему ее аскетизм так напоминал чув-

ство вины. Даже в ее долгой дружбе с Элизабет всегда оставалась тайная меланхолия. Мысль о самоубийстве не была вызвана обстоятельствами или разочарованиями, она была всецело и глубоко естественна для нее, и Мюриель давно запаслась снотворными таблетками в достаточном количестве, чтобы быстро и безболезненно уйти со сцены, как только она выберет момент покинуть место действия. Мысль о том, что она временно задерживается и делает свой выбор, дарила ей изо дня в день живительное волнение, когда она сжимала и встряхивала драгоценные, несущие свободу таблетки в маленькой бутылочке, существование которых она не открыла даже Элизабет. Что ж, однажды она, возможно, уйдет. Но не теперь.

— Мюриель, Ариэль, Габриэль.

— Да, дорогая.

— Заходила, как обещала, старушка Шэдокс-Браун? Элизабет положила сигару в пепельницу и начала отдирать листы нетерпеливыми пальцами.

— Да, она приходила сегодня утром с дядей Маркусом. Я слышала, как Пэтти их прогнала.

— Думаю, Карелу не удастся держать их всегда на расстоянии. Хотя не могу сказать, что очень

хочу увидеть дядю Маркуса. А ты хочешь повидать Шэдокс?

— Боже сохрани, нет. Это принципиальная женщина. Я показывала тебе ее письмо? Все о том, что нужно выполнять свой долг, быть готовой ко всему, и о том, чтобы найти стоящую работу.

— Я ненавижу выполнять свой долг, а ты?

— Тоже ненавижу. И более того, не буду.

Девушки гордились своей теоретической безнравственностью, находя в этом определенную изысканность. Ощущая свое превосходство над окружающими, они стали надменными, упрямыми, потом аморальными и свободными. Сами они не предавались излишеству и жили строго размеренной жизнью, которую Мюриель ввела, а Элизабет приняла. Но они считали само собой разумеющимся, что им все дозволено. Они презирали самопожертвование, которое называли условностью и добродетельным неврозом. Они избавились от такой мнимой морали уже давно. Во время своих дискуссий еще в раннем возрасте они пришли к выводу, что Бога нет, и больше не возвращались к этой теме.

— Не выношу этот мир благодетелей человечества, — сказала Элизабет.

— Я тоже. Они просто удовлетворяют свое

чувство власти. И так довольны собой. Это разновидность снобизма. Шэдокс — сноб.

— Раз уж мы заговорили о филантропах, заходила ли снова любезная Антея?

— Да, любезная Антея заходила сегодня утром. Она наносит нам визиты ежедневно.

Миссис Барлоу уже стала для девушек мишенью для шуток.

— Пожалуй, я поднимусь.

Элизабет встала с пола, совершив серию медленных размеренных движений, и расположилась в шезлонге, вытянув свои длинные, обтянутые в черное ноги. Мюриель смотрела на нее и не двигалась. Элизабет не любила, чтобы ей помогали.

— Ты хорошо спала этой ночью, моя дорогая?

— Как колода. А ты?

— Шум этих поездов не дает мне покоя.

Мюриель снова видела ужасный сон прошлой ночью. Он часто повторялся. Она была в каком-то пустынном месте, возможно в храме рядом с мраморной колонной, напуганная чем-то темным, выходящим из-под земли. Оно поднималось все выше и выше. Она не могла припомнить, чем все это кончалось, и всегда просыпалась в ужасе. Она никогда не рассказывала об этом сне Элизабет.

— Я чувствовала себя чертовски усталой, — сказала Элизабет, — и тотчас же заснула.

— Полагаю, ты не поднимала тяжести, дорогая?

— Нет, нет. Я складывала книги по одной. Должна сказать, на это ушла вечность.

— Надеюсь, ты не заразилась от меня?

— Это ты заразилась от меня, моя лапочка!

— Как ты себя сейчас чувствуешь?

— Так себе.

Болезнь Элизабет, все еще загадочная для докторов, пленяла и даже зачаровывала Мюриель. Казалось, все черты Элизабет, даже болезнь, превращались в достоинство и преимущества. Сама Элизабет хранила целомудренное молчание по этому поводу, такая скромность пленяла Мюриель и одновременно возбуждала любопытство. Элизабет как бы спряталась за тайну своей болезни. Она никогда не позволяла Мюриель наблюдать, как она раздевается, или видеть себя раздетой. Увидеть ее с длинными обнаженными ногами, в блузке или царственно возлежащей на постели в лиловой ночной сорочке с мелкими, как молочные зубы, перламутровыми пуговками было редкой привилегией. Только постучав и получив разрешение, можно было получить до-

ступ в ее комнату; дверь часто была закрыта, и в некоторых случаях Мюриель приходилось ждать приглашающего звонка колокольчика. К тому же Элизабет стала неприкасаемой. Мюриель знала об этом не из слов, но через сложный язык движений. Она осознала, что возник электрический барьер, который теперь, как щитом, отделил кузину от нее. Это беспокоило Мюриель, хотя в восприятии Элизабет этот барьер превратился в своеобразную форму общения. Между девушками иногда возникали моменты напряжения, паузы, заминки, наполненные своеобразным изяществом, мгновения, когда Мюриель хотела заключить кузину в объятия и не могла сделать этого.

Мюриель предполагала, что такая ситуация возникла из-за хирургического корсета. Ей бы хотелось прикоснуться к Элизабет и пощупать корсет. По правде говоря, этот предмет, который ей ни разу не позволили увидеть, в значительной степени занимал ее воображение. В первое время Элизабет соглашалась поговорить о корсете и даже подшучивала, называя себя «железной девой», но впоследствии предпочитала умалчивать о нем. Мюриель знала о корсете только одно: так как Элизабет чувствовала себя удобнее

в брюках, она носила «мужской вариант» корсета — хотя, что сделало его мужским, так и не поняла. Мюриель часто думала, не заставить ли Элизабет показать ей эту таинственную вещь. Такая скрытность может принести вред Элизабет. Тем не менее она все еще не решалась открыто принуждать кузину в таком деликатном деле. Ей бы только хотелось каким-то образом выбросить из головы эту заботу.

Наблюдая за Элизабет, беспокойно ерзающей в шезлонге, Мюриель скользнула взглядом за золотистую головку в угол, где виднелась длинная трещина в обоях. Когда-то комната Элизабет была намного больше, форму буквы L ей придали двумя перегородками из древесной плиты, образовавшими еще одну маленькую комнатку, теперь выходившую отдельно в коридор, — она была задумана как бельевая, Пэтти ее и использовала таким образом. Осматривая дом вскоре после переезда, Мюриель вошла в эту комнату и увидела полоску света в углу, где пересекались перегородки. Через эту щель можно было бы заглянуть в комнату Элизабет, а с помощью большого французского зеркала — даже в нишу, где спала Элизабет. Мюриель, сама изумившаяся быстроте, с которой к ней пришла эта идея при

виде полоски света, тотчас же выскользнула из комнаты, чтобы избежать ужасного искушения. Конечно, она не могла помышлять о том, чтобы шпионить таким образом за своей кузиной. Пытаясь отвлечься от этой мысли, Мюриель отвернулась и посмотрела в зеркало. Перед ней снова появилась комната, но измененная, как отражение в воде, немного затемненная в золотистой пушистой дымке. Зеркало отразило ее собственную голову и сразу позади струящийся поток волос Элизабет, повернувшейся, чтобы взбить подушки, а позади большую часть постели, смятой, растрепанной, в полумраке за ширмой. Мюриель теперь всматривалась в свои глаза, более голубые, чем глаза Элизабет, но не такой красивой формы. Пока она смотрела, стекло от ее дыхания затуманилось, она наклонилась поближе и прижалась губами к холодному зеркалу. Когда она сделала это и ее отраженные губы двинулись ей навстречу, внезапно пришло воспоминание. Она однажды, и это был единственный раз, поцеловала Элизабет в губы. Их разделяло тогда стекло. Был солнечный день, они долго смотрели друг на друга через стекло двери, ведущей в сад, и поцеловались. Элизабет в ту пору было четырнадцать. Мюриель вспомнила

детскую фигурку, несущуюся потом по зеленому саду, и холодную твердость стекла, к которому все еще оставались прижатыми ее губы.

Теперь она отодвинулась и быстро стерла точно выстроенный образ купидона с поверхности. Элизабет, закончив взбивать подушки, повернулась и улыбнулась отражению Мюриель. Не улыбаясь, Мюриель все еще пристально смотрела в зеркало, как в проход под магической аркой, в блестящих глубинах которой можно внезапно увидеть призрак неземной принцессы.

Глава 5

— Пэтти.

— Да.

— Мне приготовить чай или это сделаете вы?

— Приготовьте, пожалуйста, вы.

Юджин Пешков просунул свои толстые пальцы к чайнику. Чай был очень хороший и сыпался сквозь пальцы, как песок. Он сжал пальцы поплотнее, удерживая небольшую горстку чая, и бросил его в чайник. Только несколько чаинок упало на пушистую зеленую скатерть.

Юджин только что поссорился с сыном и чувствовал себя несчастным. Он не испытывал страдания из-за страстного желания добиться чего-то недоступного. Слишком много времени он провел на самом дне общества, ни на что не надеясь, чтобы страдать от рискованной игры соблазнительных желаний и мимолетных прихотей. Ничто не лежало вне пределов его досягаемости, так как он уже давно прекратил попытки чего-либо достигнуть. Он никогда по-настоящему не беспокоился о Лео. Но сын заставлял его страдать, особенно в последнее время. Это

была постоянно возникающая боль — как повторяющийся удар, — как будто поверхностная, но все время присутствующая.

Они поссорились совершенно без повода, просто потому, что Лео хотел поссориться. Лео злобно высказывался об обитателях дома, Юджин останавливал его, и Лео заявил, что у него менталитет слуги. Юджин рассердился, и Лео ушел, хлопнув дверью. Такие сцены теперь происходили часто, но каждый раз он испытывал потрясение, как впервые, когда понял, что сын может настолько не уважать своего отца, и боль шла от сознания, что сын ненавидит его. Юджин жил с сыном вдвоем с тех пор, как умерла Таня. Лео было тогда два года, и он рос любящим ребенком. Все эти годы Юджин носил или водил Лео повсюду, куда бы ни шел. У него не было иного выхода. Больше некому было позаботиться о мальчике. Лео жил на его плече, под боком, как детеныш животного, прильнувший к телу родителя. Как могла из такой тесной и нежной связи вырасти ненависть? Понятно, что теперь, когда мальчик вырос, он не хотел жить дома. Его стипендии не хватало, чтобы платить за отдельную комнату, и он, разумеется, нервничал. Юджин говорил ему, что это временно, что вполне можно потерпеть.

Но в мальчике было нечто большее, чем просто раздражение, — какое-то глубокое и сильное негодование. Что же совершил Юджин, который все эти годы был его советчиком, покровителем, почти слугой, чтобы заслужить такое? Он делал ему замечания, но не грубо, слегка журил. Юджин знал, что его драгоценный сын проявлял неразборчивость в связях с женщинами, и это огорчало и возмущало его. Была по крайней мере одна беременность. Юджин однажды говорил об этом с Лео, но, по его мнению, в рассудительном, а не осуждающем тоне. Может, за это его возненавидели и наказывали? Уже некоторое время Лео не говорил с ним по-русски, а если Юджин заговаривал с ним на русском языке, мальчик неизменно отвечал по-английски. Это задевало Юджина большее, чем прямое оскорбление. Он понимал, какая разрушительная работа происходит в возмущенном юношеском мозгу. Лео уничтожил бы в себе, если бы смог, драгоценную врожденную ткань русского языка и своего русского происхождения, он навеки забыл бы, если бы смог, что он русский.

Юджина утешил визит Пэтти. Она довольно часто заглядывала в его комнату-бомбоубежище, чтобы о чем-то попросить, но на этот раз он

впервые официально пригласил ее на чай, и она согласилась, так что, похоже, пробудет здесь подольше и они смогут поговорить. Он чувствовал себя с ней непринужденно, как обычно с людьми без претензий и положения. Юджин не страдал от чувства собственной неполноценности. Он был наполнен своей русской сутью так же, как англичане своей. Англичане и русские, по его мнению, сильнее, чем люди других национальностей, уверовали в свое превосходство. В этом не ощущалось никакой суеты. Все было предельно просто. Юджин не растерял за свою долгую, полную побоев жизнь изгнанника ни грана этой уверенности. Но, будучи реалистом, он иногда несколько сардонически оценивал свое нелепое самодовольство, слишком расслабленное, чтобы его можно было назвать гордостью в данной ситуации. Он так никогда и не нашел себе места в английском обществе, даже не поставил ногу на край или не просунул палец в щель. Его друзья были такими же изгнанниками и нестоящими людьми, как и он сам. Вокруг находилось достаточно аутсайдеров, чтобы самим составить общество, возможно даже лучшее. В Пэтти он узнал собрата по положению.

Сейчас он смотрел на нее. Она ссутулившись,

немного напряженно сидела на нижней койке. Икона сверкала над ней, как звезда. Комната была ярко освещена, пожалуй даже слишком ярко, почти ослепительно, — Пэтти щурилась и мигала. Возможно, она принадлежала к той категории людей, которые всегда хотят оставаться в тени. Комната с ее высоким потолком и гладкими бетонированными стенами казалась тяжелой, как будто погружающейся в землю, и она действительно находилась ниже уровня земли. Длинные узкие окна занимали всю высоту стены почти до потолка. Они не были занавешены, и сейчас их наполняла туманная тьма. Внизу стояла двойная койка Юджина, стол, покрытый зеленой пушистой скатертью с длинной бахромой, кресло современной конструкции, деревянный стул и желтая фарфоровая подставка, напоминающая женскую фигуру с талией и грудью, на ней стояло растение в горшке. Юджин не знал, что это за растение, хотя оно было с ним много лет. У него были длинные склоненные ветви и блестящие сердцевидные листья, некоторые из них иногда темнели, высыхали и опадали. Оно не переносило ни воду, ни свет. Юджин нежно привязался к нему. Вместе с иконой оно составляло его собственность. Все остальные вещи были

случайными.

Юджин установил электрический камин так, чтобы направить его тепло на Пэтти. Камин он включил просто для уюта, так как в комнате было уже довольно тепло из-за близости котельной. Пэтти застенчиво вертела в руках чашку, помешивая чай уже в четвертый раз. На столе, покрытом зеленой скатертью, стояла тарелка с горячими подрумянившимися, намазанными маслом тостами, запах которых наполнял комнату, и тарелка с пирожными, снаружи украшенными сахарным орнаментом, а внутри мягкими и пористыми. Пэтти взяла одно из них и положила на свою тарелку, стоявшую рядом с ней на кровати, но, казалось, стеснялась его есть. Юджин рассматривал ее.

Он видел множество девушек из Вест-Индии в автобусах или в метро, но он никогда не рассматривал никого из них столь близко и долго. Ему нравилось ее широкое плоское лицо, напоминавшее русские лица. Ее полное тело также напоминало ему о доме. Она была такой, какой и должна быть женщина, — большегрудой, монументальной. Ее бедра изгибались сначала нерешительно, а затем переходили в большую уверенную параболу, и сзади всего было в изоби-

лии. Ее груди, обтянутые сейчас довольно тесной розовой кофточкой из джерси, выглядели как два больших, безупречно круглых плотных шара. Она сидела, чуть расставив ноги, демонстрируя полоску слегка поношенной нижней юбки там, где она была натянута на колени. Ему нравилась ее небрежная, непричесанная женственность и даже то, как туфли всегда спадали с ее ног. Он только бы хотел, чтобы она почаще улыбалась ему. Он любил этот внезапный блеск великолепных белых зубов. Она часто посматривала на него, и серьезность ее взгляда нарушала его покой. Его волновали ее очень темные глаза с огненно-красными точками в уголках и поразительно прямые черные волосы, которые парили вокруг ее головы, словно и не росли, а происходили от какого-то магнетизма.

— Здесь всегда так темно в это время года?

— Туман? Да, здесь часто туманно, хотя обычно не так долго. Он скоро ослабеет.

— Он пугает меня. И из-под земли доносится этот непривычный шум поездов.

— Скоро вы перестанете слышать поезда. Я их совсем не воспринимаю, так привык к ним. Вы почувствуете себя лучше, когда станете выходить в магазины.

Юджина начали уже утомлять ежедневные покупки для всей семьи.

— Я завтра пойду с вами.

— Ешьте, пожалуйста, свое пирожное. Оно выглядит таким печальным оттого, что вы не съели его.

Удивительная белозубая улыбка, а затем все еще застенчиво откусывается маленький кусочек пирожного.

— Наверное, вы скоро будете очень заняты. Вечера, обеды и прочее. Раз вы поселились здесь.

— О нет, священник никогда не устраивает у себя приемов.

Юджин не знал, рад он или огорчен. Он сам с собой спорил, сказать ему да или нет, если ему предложат роль дворецкого. В свое время он был дворецким, или, по крайней мере, играл эту роль с некоторым успехом. Все, кто его видел, принимали его за дворецкого, и причем за хорошего. Юджин не считал себя униженным этим маскарадом. В свое время он также играл роль посыльного в отеле, лифтера в магазине, привратника в школе и недолго бармена. Нынешняя работа вполне ему подходила. Он любил простой физический труд, любил содержать вещи в чистоте и порядке и быть предоставленным

себе в своем собственном углу. Работа приносила и маленькую зарплату помимо превосходных комнат для него и Лео. К тому же эмигрантская организация платила ему небольшое пособие. Так он жил. Прежний священник требовал от него очень мало, и Юджин приобрел приятную привычку бездельничать. Ему нравилось заниматься тем, что он называл размышлениями, но он знал, что это больше напоминало мечтание. У него не было книг, кроме нескольких романов в бумажной обложке, но он постоянно читал исторические биографии, которые брал в библиотеке. У него также был маленький радиоприемник, по которому он рассеянно слушал музыку. И все же он заинтересовался новыми жильцами и внезапно почувствовал некоторое разочарование из-за того, что ему не придется играть для них роль дворецкого.

— А мисс Мюриель, она принимает гостей?

— Нет, нет. Она необщительная.

Юджин не был уверен, нравится ли ему эта напористая худая девушка с мальчишеской головкой и проницательными, пытливыми глазами. Она слишком быстро задала ему множество вопросов о его жизни.

— Священник часто болеет, как сейчас?

— Он не болен.

«Я сказал что-то не то», — подумал Юджин. Он решил, что священник болен, так как в дом никого не пускали с момента его приезда, а по утрам он долго оставался в постели. Да и лицо его было каким-то странным. Юджин немного побаивался его, хотя при их редких встречах тот проявлял рассеянную любезность.

— О, тогда хорошо. Я просто слышал, как вы сегодня утром снова отослали миссис Барлоу, и подумал… Вы рады, что приехали в Лондон, Пэтти? Ешьте, пожалуйста, пирожное.

— Да… Я не знаю. Я еще не видела Лондона. Хорошо жить около реки. А от реки можно увидеть море?

— О нет. До моря еще много-много миль.

— Я никогда не видела моря.

Никогда не видела моря! Разве такое возможно? Море непременно должно быть частью счастливого детства каждого ребенка. Из-за того, что в ее жизни не было моря, он внезапно почувствовал к ней жалость, как будто, не получив столь необходимого в детстве, она высохла и превратилась в маленький сморщенный орех.

— Как ужасно. Я думаю, когда ваши родители приехали из Вест-Индии?..

— Мой отец приехал с Ямайки, а мать была белой, она — ирландка.

«Мне следовало догадаться, — подумал Юджин. — Она не такая черная. Я обидел ее».

— Значит, это имя вашей матери…

— Да. Думаю, вы догадываетесь, не так ли? Мои родители не были женаты.

«Ее это волнует, — подумал он, — и она считает, что я высмеиваю ее. Как сказать ей, что все это неважно?» Ему хотелось протянуть руку и коснуться ее пухлого запястья, выступавшего из-под узкого рукава розовой джерсовой кофточки. Он сказал:

— Это совершенно не имеет значения.

— Я знаю, что не имеет… Нет, имеет, имело. Мне пришлось много пережить, когда я была маленькой.

— Расскажите мне об этом.

— Не могу. Это слишком ужасно. Да я и забыла. Лучше вы расскажите мне о себе, о своем детстве.

— О себе?..

— Если вы не возражаете…

— Нет, конечно, не возражаю.

Прошло много времени с тех пор, как он рассказывал кому-то о себе, и почти столько же времени

с тех пор, как он разговаривал с женщиной. Так, непринужденно болтая с Пэтти, он вдруг осознал, как редко он теперь видится с женщинами, разве что с женами своих друзей, и даже их он не видел с тех пор, как переехал жить в дом священника. Внезапно он подумал: «Я наедине с женщиной в своей комнате».

— Где вы родились?

— В Санкт-Петербурге… Ленинграде, так-то вот.

— Это было до переворота?

— До переворота, да. Мне было шесть лет, когда произошел переворот.

— Ваши родители были богатыми людьми?

— Да. — Странно было говорить таким образом. Его родители были богатыми, очень богатыми по любым сегодняшним меркам. И их богатство было настолько естественным, что казалось странным даже упоминать о нем.

— Значит, вы выросли в большом доме со слугами и тому подобным?

— До шести лет, да. У нас было два дома — один в Санкт-Петербурге, другой в деревне.

Он помнил все это очень отчетливо. Его русские воспоминания сверкали разными красками, а все остальные были одноцветными. Он видел розовый фасад большого дома на Мойке с

изгибами роскошных украшений из стукко[10], окрашенных в кремовый цвет, пыльных летом, увенчанных короной из снега зимой. И высокая, нестриженая трава вокруг загородного дома, расцвеченная красными цветами, почти скрывающая длинный низкий деревянный фасад от взгляда спрятавшегося ребенка. Он прятался в траве, когда мать звала его с веранды. Сквозь розоватые заросли травы он видел ее белое в крапинку платье и бахрому медленно поворачиваемого зонтика.

— Вы так хорошо говорите по-английски.

— Я выучил его дома, в детстве. Мы все владели английским. И я свободно говорил на нем до того, как покинул Россию.

— Вы были счастливы в детстве?

— Счастлив?.. Детство было раем.

Это правда. Он был зачат и рожден в неге и любви, обрел сознание в море глубокого счастья. Он любил своих родителей, любил свою сестру, любил слуг. И все любили его и баловали, как маленького короля. В деревне у него был собственный пони и грум, в Петербурге — свои специальные сани с лошадью Нико и

---

[10] Примечания: 10
Искусственный мрамор.

слугой Федором, который всегда возил его, когда он направлялся навестить друзей. Пробежав в ботинках по хрустящей сверкающей снежной поверхности, он взбирался в сани. Медные заклепки на сбруе ослепительно сверкают на солнце, как будто по саням тут и там разбросаны маленькие огоньки. Большая меховая полость прилажена таким образом, что видны только его нос и глаза из-под меховой шапки. Черный мягкий кожаный ремень, который пристегивает Федор, пахнет специальным составом, который покупают для чистки в английском магазине на Невском проспекте. Лошадь на мгновение напрягается, затем движется без усилий. Санки скользят. Лошадь убыстряет бег. Раздается легкий звон. «Быстрее, быстрее, дорогой Федор!» Солнце освещает снег на дороге, исчерченной полозьями других саней, бросает лучи на позолоченный купол Исаакиевского собора и изящную стрелу Адмиралтейского шпиля.

— Как вам повезло, у вас есть счастливые воспоминания. По крайней мере их у вас никто не сможет отнять.

— Их — да.

Отняли почти все остальное. Но действительно, эти шесть золотых лет остались неиссякаемым

источником света. Их блеск не причиняет ему боли своим контрастом. Скорее, он с благодарностью принимает исходящее от них тепло даже сейчас, как будто он ткал более тусклую материю своей жизни вокруг этого дорогого воспоминания, образуя темное яйцо, содержащее в своей сердцевине сверкающий сюрприз — драгоценность, изготовленную Фаберже.

— Что же произошло потом, когда вам исполнилось шесть лет?

— Произошла революция. Мои родители бежали в Ригу вместе со мной и сестрой.

— И вы все бросили?

— Все, кроме нескольких драгоценностей. Но они стоили кучу денег. Мы не бедствовали в Риге, во всяком случае в первое время.

Воспоминания тех лет немного померкли. Взрослые о чем-то обеспокоенно перешептывались и замолкали, когда приближались дети. Большеглазый, сбитый с толку ребенок вглядывался в серое море.

— Вы, должно быть, страшно ненавидите тех людей, которые выгнали вас?

— Думаю, мы могли бы остаться, хотя это было бы трудно. Нет, я не испытываю к ним ненависти. Все было так ужасно прежде. Одни люди такие

богатые, а другие — совершенно бедные. Полагаю, это должно было случиться.

И действительно, он не испытывал ненависти. В гибели его счастливого мира заключалась какая-то всеобъемлющая справедливость. Но все же что-то было нарушено или, возможно, просто невыразимо печально. Он так любил свою страну!

— А где находится Рига?

— В Латвии. На Балтийском море.

— И долго вы там оставались?

— Пока мне не исполнилось двенадцать. Отец боялся, что Советы аннексируют Латвию. Так в конце концов и произошло, но мы к тому времени уже уехали. Мы перебрались в Прагу.

— В Прагу? В Чехословакию? Тогда вы обеднели?

— Да, тогда мы обеднели. Отец получил какую-то канцелярскую работу в юридической конторе, которая знала нашу семью. Мать давала уроки русского языка. Когда я подрос, тоже стал давать уроки русского языка и поступил в Пражский университет.

Запертые в Праге. Она всегда казалась ему ловушкой, красивой зловещей клеткой. Огромные тяжелые здания переходили в громады башен,

спускаясь к запертой реке. Они снимали квартиру на узкой улочке, ниже Страхова монастыря. Семья отчаянно мерзла зимой и слушала колокола. Колокола, колокола на холоде.

— Значит, вы университетский человек?

— Да, меня, пожалуй, можно назвать университетским человеком. Но это было так давно.

— Вам удавалось заработать достаточно денег?

— Да, вполне. Но отец умер, когда мне было около двадцати, и жить стало труднее. Мы все работали. Сестра шила одежду. Конечно, в Праге было много русских. Все помогали друг другу. Мы принесли с собой Россию. Она все еще оставалась с нами. Но это было печальное время.

Гроб отца наклоняется, когда его несут вверх по крутой улице. Она слишком узка для катафалка. Мать и сестра спотыкаются и плачут, но его глаза сухи, он закалил себя и не подпускает боль. Катафалк трясет на булыжниках. Колокола.

— Что же случилось потом?

— Потом пришел Гитлер. Он прервал мои занятия.

— Гитлер. О да. Я забыла. Вам удалось снова бежать?

— Мы пытались, но наши документы оказались не в порядке. Нас задержали на границе. Мать и

сестру отправили назад в Прагу, а меня послали работать на фабрику. Впоследствии меня перевели в трудовой лагерь.

— Наверное, это было ужасно? Долго ли вы там пробыли?

— Я пробыл там до конца войны. Это было мерзко, но другим пришлось еще хуже. Я работал на полях, там не голодали.

— Бедный вы, бедный.

— Послушайте, я уже несколько дней зову вас Пэтти. Не могли бы и вы называть меня Юджин?

Он, конечно, произнес свое имя по-английски. То, что англичане неправильно произносят его имя и фамилию, долго огорчало его. Прекрасные русские звуки оказались им недоступны. Теперь он почти испытывал какое-то мрачное удовольствие в вынужденном инкогнито.

— Да, хорошо, попытаюсь. Я никогда не знала никого с таким именем.

— Юджин.

— Юджин. Спасибо. Что произошло с вашей матерью и сестрой?

— Мать скоро умерла от паралича. Я ее никогда больше не видел с тех пор, как мы расстались на границе, правда, я получил несколько писем. А сестра… я не знаю… она просто… пропала…

— Вы хотите сказать, что не знаете, что с ней произошло?

— Люди пропадали во время войны. И она пропала. Я продолжал надеяться какое-то время.

— О, простите. Как звали вашу сестру?

Наступило молчание. Юджин внезапно почувствовал, что не может говорить. Огромная волна чувств поднялась в нем и, казалось, хлынула в комнату. Он вцепился в край стола. Прошло много-много лет с тех пор, как он кому-нибудь рассказывал об этом. Через минуту он сказал:

— Ее звали Элизабет, по-русски Елизавета.

— Мне ужасно жаль, — пробормотала Пэтти, — мне не следовало просить вас рассказывать. Пожалуйста, простите меня.

— Нет, нет. Это хорошо, что я рассказал. Я никогда об этом не рассказывал. Вы принесли мне пользу. Пожалуйста, спрашивайте еще. Я отвечу вам на любой вопрос.

— Что произошло потом, когда кончилась война?

— Я был в различных лагерях для беженцев, в конце концов оказался в лагере в Австрии.

— И сколько вы пробыли в лагерях?

— Девять лет.

— Девять лет? Почему так долго?

— Ну, было трудно выйти. Так много путаницы, и людей перебрасывали с места на место. Позже я женился в лагере. Ее звали Таня, Татьяна. Она была русской, и у нее был туберкулез. Никто не хотел взять нас с туберкулезом. Вопрос был в том, чтобы найти страну, которая согласилась бы нас принять, понимаете?

Он совсем не собирался жениться на Тане. Вопрос решил Лео.

— И что же вы делали все эти годы в лагере?

— Ничего. Немного спекулировал на черном рынке. В основном ничего.

Он вспомнил длинный деревянный барак среди сосен. Его койка стояла в углу. Важно было занять угол. Позже они с Таней делили небольшой барак с другой парой. Они устроились там, прикололи картинки к стене. Он не чувствовал себя слишком несчастным, особенно когда появился Лео. После семи лет убийственной работы наступило девятилетнее безделье.

— Вы когда-нибудь думали о том, чтобы вернуться назад, в Россию?

— Да. Тогда я часто думал об этом, Таня не хотела, да и я бы побоялся. К тому же вопрос упирался в религию.

Он поднял глаза на икону. Отец, Сын и Дух

Святой с кроткими и склоненными лицами беседовали у стола, накрытого белой скатертью. Их золотые кудри переплетались. Они были грустны, так как знали, что не все благополучно с их творением. Возможно, они ощущали, что их самих тихо относит от него.

— О, вы христианин, вы принадлежите к русской православной церкви.

— Нет, больше нет. Теперь я атеист.

Во время войны религия утешала его, возможно, скорее как воспоминание о добрых и чистых людях, чем личная вера в спасительное божество. В годы праздности она постепенно стерлась, как все исчезло в эти годы. Он оставил свою страну Богу, в которого больше не верил. Но нет, у него никогда не хватило бы мужества вернуться. Однако он очень много думал о России в том лагере, когда лежал на кровати бесконечными летними днями, чувствуя голод и вдыхая запах сосен и креозота, и воображал себя окруженным своими соотечественниками, говорящими на родном языке.

— А картина, икона, она была с вами все это время?

— Нет, не все время. Она принадлежала моей матери. После того как она умерла, наши друзья

в Праге взяли ее, это семья юриста. Затем после войны они разыскали меня через Красный Крест и передали ее мне в лагерь. Это единственная вещь, которая была и там и здесь.

Странно подумать, что она висела в спальне его матери, в том доме в Санкт-Петербурге. Спальня была темной, полной колыхающихся занавесок, кружев, тюля. В ней было душно и пахло одеколоном. Более удивительно было думать, что икона совершила такое путешествие, чем вспоминать, что такое же путешествие совершил он сам. Может, потому что он постарел, а икона — нет.

— Она красивая. И наверное, ужасно дорого стоит.

— Да. Я всегда боялся, что ее украдут в лагере. Я думаю, так бы и сделали, но ее немного боялись, испытывали перед ней какой-то суеверный страх. А здесь я держу свою комнату запертой — в этой части Лондона всегда шныряют воры. Я и вам советую всегда тщательно запирать дверь. Хотя икона может напугать вора даже здесь. Она считается чудотворной и принадлежала церкви, прежде чем попала в нашу семью, говорят, раз в год ее обносили вокруг города, и пока она участвовала в процессии, происходили разные чудеса: люди внезапно признавались в своих грехах или

примирялись со своими врагами.

— Совершала ли она какие-нибудь чудеса для вас?

— Нет. Но я и не заслужил никаких чудес. Я потерял веру.

Он потерял свою страну и свою веру. Великолепный темный сверкающий интерьер русской церкви был домом для него так много лет его детства и юности. Бородатый русский Бог прислушивался в этой тьме к его просьбам и молитвам, бранил его за ошибки, прощал прегрешения, любил его. Лишь со временем он понял, что здание было пустым. Безбрежное присутствие — всего лишь обман темноты. Там ничего не было, кроме темноты. А теперь у него есть сын, который не может постигнуть Бога.

— Я люблю икону, — сказал он. — И зажигаю ладан перед ней. Этим как бы подкармливаю ее. Она для меня больше чем символ.

Хотя чем еще она могла быть, как не символом? Он был сентиментальным суеверным человеком. И любил икону, потому что она принадлежала его матери и жила с ними в Санкт-Петербурге. Возможно, она каким-то образом удовлетворяла его подавленное чувство собственности. Он любил ее так же, как незамутненный образ добродетели,

лишенный всего индивидуального.

— И вы приехали в Англию?

— В конце концов, да.

— А зачем?

— Ничего особенного. Работал в разных местах. А сейчас сижу здесь и разговариваю с Пэтти.

Как прошли годы? Они прошли. Иногда в памяти времена отталкивались, и казалось, что это Гитлер стучал в ворота Санкт-Петербурга. Его зрелость как будто случайно забрали у него. Пятнадцать лет в лагерях, вся середина жизни. Более того, в действительности он никогда не прекращал жить в лагере. В Англии он переезжал из одного жалкого и грязного барака в другой. Даже сейчас он жил в лагере. Он получил свой угол. И все.

— Хотелось бы мне поработать в одном из таких мест, — заметила Пэтти.

— Вы имеете в виду лагерь для беженцев? Почему?

— Это было бы что-то реальное — быть рядом с настоящим страданием, помогать людям.

— Жизнь в лагере абсолютно нереальна для людей, которые живут там. Лагерная жизнь — сон, Пэтти. Для работников, занимающихся вопросами улучшения быта, там все в порядке.

О, я видел множество их, таких веселых, таких довольных собой! Ничто не делает человека счастливее и свободнее, чем вид страдающих и заключенных людей! Нет, они были вполне положительными, эти работники по улучшению быта, вы не должны считать меня циником. Но между их самодовольством и нашим полузабытьем как-то терялась реальность. Возможно, Бог видел это. Только святой мог бы придерживаться там истины.

— Тогда я хотела бы стать святой. — Юджин засмеялся:

— Весь мир — лагерь, Пэтти, так что у вас есть шанс. Есть хорошие и плохие углы, но в конце концов — это пересыльная тюрьма.

— Значит, вы верите в загробную жизнь?

— Нет, нет. Я просто хочу сказать, что ничто не имеет такого уж большого значения. Мы здесь ненадолго.

Его слова прозвучали в тишине ярко освещенной комнаты. Пэтти сплела пальцы, а затем, когда снова наступило молчание, она встала.

— Я слишком долго у вас пробыла и должна вернуться к работе. Мне не следовало заставлять вас вспоминать обо всем пережитом.

— Нет, это хорошо. Человек иногда должен

поговорить о том, что на душе, а не скрывать это. В следующий раз вы расскажете мне о себе.

— Мне нечего рассказывать о себе, — сказала Пэтти, стряхивая крошки с юбки.

— Почему же, что-то должно быть. У каждого есть свои приключения. О, я так рад! Вы съели три пирожных.

— Мне не следовало этого делать. Я и так слишком толстая. Я все собираюсь сесть на диету.

— Пожалуйста, не надо! У вас прекрасная фигура. Вы мне нравитесь такой, какая вы есть.

— Правда?

— Да, правда. Вы должны быть благодарной. Когда-нибудь вы похудеете и пожалеете об этом. Худая женщина похожа на смерть.

Он вспомнил бедную Таню, худую как скелет, обвиняюще смотревшую на него глазами умирающей. Она была обрывком его воспоминаний, почти бестелесных. Он не слишком по-доброму относился к ней, порой негодовал на ее беременность, ее болезнь. И она стала такой худой.

— Я должна идти.

— Вы придете еще посидеть вот так, правда?

— Да, с удовольствием.

— И послушайте, когда туман рассеется, позвольте мне отвезти вас к морю.

— К морю? А это возможно?

— Нет ничего проще. Но обещайте, что не поедете ни с кем другим прежде!

— Но нет никого другого, кто бы… О, я бы с удовольствием поехала с вами к морю, с удовольствием.

— Юджин.

— Юджин.

— Тогда решено.

Она улыбнулась ему из-под своих разлетающихся волос.

После того как она ушла, Юджин некоторое время стоял, глядя на Отца, Сына и Святого Духа. Нет, он был не очень добр к Тане. Через минуту он стал думать о том, как повезет Пэтти к морю.

Глава 6

Мюриель тихо закрыла за собой дверь. На нее нахлынул холодный воздух, и она чихнула. Эта проклятая простуда все не проходила. Туман, как поднятый палец, чтобы водворить тишину, заполнил все безмолвием. Прикрыв нос платком, она сделала несколько шагов по тротуару и тут же потеряла дом из виду, но продолжала идти вперед по мостовой сквозь пустоту. Она могла рассмотреть неподалеку с ее стороны дороги землю, замерзшую небольшими бугорками. Другой стороны дороги не было видно. Предупреждающий звук сирены отражался в густом воздухе и, казалось, перемещался вокруг нее кругами. Она бесшумно продвигалась посреди замирающего эха.

Немного погодя она остановилась и прислушалась. Ничего. Плотный густой купол тумана ограничил видимость маленьким призрачным кругом, а напоенный влагой воздух поглаживал ее щеку холодным, неласковым прикосновением. Шерстяной шарф, который она обмотала вокруг головы, стал уже влажным. Она сунула носовой

платок обратно в карман и глубоко задышала, выдыхая маленькие струйки пара. Она стояла, широко открыв глаза, прислушиваясь и ожидая. Туман волновал ее.

Мюриель провела это утро, пытаясь написать о нем. Она добавила несколько строк к своей философской поэме, и туман каким-то образом вошел в нее. Клубящийся, стелющийся, передвигающийся и в то же время неподвижный, всегда отступающий и неизменно присутствующий везде и одновременно нигде. Он вынуждал к молчанию, вызывал напряженное жадное внимание и, казалось, символизировал все, чего в этот момент она боялась. Страх проник и в поэму, и это удивило ее. Боялась ли она? Чего она боялась? Причин для страха не было. Она встряхнула свои снотворные таблетки в маленькой голубой бутылочке. Сейчас, когда она с сильно бьющимся сердцем стояла на тротуаре, чувство казалось больше похожим на любовь, чем на страх. Но разве можно любить ничто?

Она медленно пошла, ее ноги, касаясь влажного заиндевевшего тротуара, производили легкий шум. Она решила, что вскоре прочтет часть своей поэмы Элизабет, но Элизабет не позвонила этим утром. Мюриель была довольна поэмой. Может,

это поэма превратила тот непонятный страх в столь же непонятную любовь, которая так сильно взволновала ее сейчас. Она вздрогнула, помахала руками в перчатках, ощущая себя теплой и неудержимо живой под своими одеждами. Она с наслаждением вдыхала холодный, пропитанный туманом воздух, затем внезапно снова остановилась. На пустынной земле рядом с ней, словно возникнув из стены тумана, показалось что-то вертикальное. Оно было таким неподвижным, что Мюриель приняла увиденное за столб, хотя оно выглядело в то же время как человеческое существо. Только сейчас она осознала, что вокруг абсолютно никого не было, и это казалось странным. Следующее мгновение показалось еще более странным и пугающим, потому что кто-то стоял перед ней в тумане, стоял совершенно неподвижно, стоял так же, как и она сама, чего-то ожидая и прислушиваясь. Это, несомненно, был человек, мужчина, и он смотрел в ее сторону. Мюриель поколебалась и осторожно сделала еще один шаг. Затем она рассмотрела, что это был Лео Пешков.

Не поздороваться с ним было так же невозможно, как если бы они встретились в дебрях джунглей.

— Привет, — сказала Мюриель.

— Привет. Не правда ли, туман замечательный?

— Я как раз об этом думала, — ответила она. — Я им просто наслаждаюсь.

— Я стою здесь уже лет сто в надежде кого-нибудь напугать. Надеюсь, тебя напугал?

— Конечно! Правда странно, что никого вокруг нет?

— Не особенно. Там нет ничего, кроме пакгаузов. А так как сегодня воскресенье…

— О, сегодня воскресенье? А я и не знала.

— Называть себя дочерью священника и не знать, что сегодня воскресенье!

Мюриель подумала, что молодой человек довольно развязный. Она сказала немного холодно:

— Что ж, добрый день. Я иду вниз к реке.

— Ты никогда не найдешь реку, если пойдешь этой дорогой.

— Надеюсь, мне удастся. До свидания.

— Послушай. Я покажу тебе дорогу к реке. Иначе ты действительно не найдешь ее. К ней ведут узкие проходы между пакгаузами, их нужно знать. Ты согласна пройти через всю эту грязь?

— Но река должна быть там. Если я пойду пря-

мо…

— Река вокруг нас. Мы находимся как бы на полуострове, река делает петлю. Здесь кратчайший путь. Пойдем.

С этими словами парень стал исчезать в тумане. Слегка рассерженная, Мюриель сошла с тротуара и последовала за ним, хотя ей и хотелось побыть одной.

Земля строительной площадки, казавшаяся довольно ровной, была покрыта бугорками и скользкими выбоинами со льдом. Поверхность земли промерзла, но корочка льда оставалась хрупкой, а под ней была грязь.

— Подожди минуту. Не иди так быстро.

— Извини. Наверное, твои высокие каблучки… О, я вижу, ты носишь то, что называют разумными туфлями. Если хочешь, можешь взять меня за руку.

— Со мной все в порядке. Далеко идти?

— Пара шагов. Впечатляюще, правда? Такая дикая местность. Жаль будет, когда ее застроят. Здесь такой потрясающий вид на собор святого Павла и множество других церквей. Увидишь, когда рассеется туман.

Странно было думать, что они окружены невидимыми куполами, башнями и шпилями. Ей уже

казалось, что она вообще не в городе.

— Вот снова тротуар, мы почти пришли.

Из тумана внезапно выросла глухая стена и рядом другая тьма. Мюриель почувствовала себя в заключении.

— Это один из проходов, о которых я тебе говорил. Он сужается, внизу есть ступеньки. Берегись, здесь довольно скользко. Держись за стену, если сможешь.

Мюриель коснулась стены рукой в перчатке. Огромные куски и корки полусгнивших овощей рассыпались в липкую грязь под ее ногами и иногда попадали ей в туфли. Она осторожно спускалась по ступеням, держась за цепь, протянутую возле стены. Потом заметила кусок тротуара, фонарный столб и еще несколько ступеней, ведущих к воде.

— Что ж, вот и река, — сказал Лео. — Хотя сейчас не так уж много можно увидеть. Но ты хотела этого, и она перед тобой.

Туман здесь казался светлее и не таким плотным, как будто замер в ожидании солнца. Мюриель могла видеть пятнадцать — двадцать ярдов быстро текущей воды, темные светящиеся куски окаменевшей смолы, которые река быстро уносила вместе с разбросанными обломками дре-

весины и длинными водорослями, похожими на волосы. Снова очень близко зазвучал туманный горн, и Мюриель опять ощутила то же чувство, которое так и не могла определить, — страх это или любовь. Ступени вели к воде. Она спустилась на нижнюю, а затем повернулась и взглянула на Лео.

Он стоял на верхней ступени, прислонившись к стене. На нем было короткое поношенное черное пальто, воротник которого был поднят и обмотан полосатым шерстяным шарфом, а его коротко подстриженные волосы, потемневшие от влажного воздуха, напоминали лоснящуюся кожаную шапку. Он походил на готовящуюся нырнуть утку или водяного эльфа, который только что всплыл на поверхность. Минуту Мюриель оценивающе рассматривала его, как будто он был произведением искусства, и с удовлетворением отметила округлость его головы. Что делало его таким красивым? Возможно, холодность этих широко расставленных глаз.

Чтобы скрыть столь затянувшееся разглядывание, она спросила:

— Нет ли поблизости моста, чтобы перейти реку?

— Моя дорогая, здесь нет мостов. Это терри-

тория дока. Сразу видно, что ты деревенская мышка.

Мюриель минуту подумала. Она не могла оставить такое без внимания. Но если ей удастся осадить его, то с ним возможно будет установить какие-то взаимоотношения.

Она сказала:

— Если мы намерены встречаться, получая от этого некоторое удовольствие, во всяком случае с моей стороны, тебе придется изменить свои манеры.

Лукавое довольное выражение лица сменило на минуту вежливую маску, но затем снова укрылось за ней. Лео спустился к ней на ступеньку-другую, но не слишком близко.

— Я должен встать на колени и извиниться?

Минутой раньше Мюриель приписывала его развязность естественной природе сына слуги — «я не хуже тебя». Теперь она поняла, что он хотел именно того, чего добился, — установления более близких и фамильярных отношений. Она попала в ловушку.

Мюриель холодно сказала:

— Не будь глупцом. Мне нет дела до твоих фамильярностей. А теперь, я думаю, нам пора возвращаться. Извини, но мне снова придется

попросить проводить меня, иначе я непременно заблужусь.

— О, не уходи, — попросил он. — Пожалуйста. Здесь замечательно.

Здесь и правда было замечательно, и Мюриель в действительности не испытывала крайней необходимости уходить. Уединенность и заброшенность места делали его значительным и почти священным. Сильный холод не вызывал окоченения, но обострял восприятие. Мюриель снова повернулась к бесшумно бегущей реке. От нее пахло гнилыми овощами, чем-то еще и очень ясно — водой.

— Ты учишься в каком-то техническом колледже? — спросила она Лео, не глядя на него. Он теперь спустился и стоял рядом с ней.

— Да. Хотя я его ненавижу. Я не очень силен в математике. Есть там у нас парень, только что из Кэмбриджа, который занимается с нами. Я не могу держаться на таком уровне. А тебе давалась математика?

— Неплохо. Но, думаю, в школе математика совсем другая.

— Да, конечно. Не могу я справиться со всей этой ерундой. Такой способ мышления выше моего разумения и все время травмирует мой

мозг. Он все время твердит, что пунктуально придерживается чего-то, а я понять не могу — чего? Даже не могу объяснить. Думаю, я все брошу и устроюсь на работу.

— Но твой отец огорчится?

— Мой отец? Какого черта? А мне наплевать, что подумает мой отец.

— Почему? Разве ты не любишь его?

— Люблю его? Ты что, не читала Фрейда, детка? Извини, мне не положено так говорить, не так ли? Знаешь, все парни ненавидят своих отцов. В то время как девчонки влюблены в них.

Мюриель засмеялась:

— Я не влюблена в своего. Но, я уверена, твой отец гордится тобой, выплачивает тебе субсидии и все такое.

— Ему нет никакого дела до меня. У него масса денег. Он в действительности писатель, или считает себя писателем, а привратником работает просто для развлечения. Когда ему надоест, он поедет дальше. Это просто эксцентричный человек.

— В самом деле?

— Он притворяется бедным русским эмигрантом, но он вовсе не русский, а немец. Видишь ли, он происходит из банкирской прибалтийской

семьи. Живет в Англии всю жизнь. Куча денег.

— Ладно, ладно! А как насчет матери?

— Моя мать — удивительная женщина, ты должна познакомиться с ней. Она англичанка, естественно. Они разошлись много лет назад, и она снова вышла замуж за баронета на севере Англии. Я довольно часто езжу туда. Они ужасно важные особы. Я влюблен в свою мать.

— Действительно? Как интересно.

— Моя мать красавица и страшно экстравагантна. Боюсь, вся наша семья слишком эксцентрична. Знаешь, какая страсть у моего отца?

— Какая?

— Азартные игры. Видишь ли, все русские — игроки.

— Мне показалось, ты сказал, что он не русский.

— Ну, эти прибалтийские немцы во всем подражают русским. Он обожает рулетку. И может себе это позволить, посещая Монте-Карло. Затем наступает приступ раскаяния, он налагает на себя епитимью и поступает на какую-нибудь ужасно незаметную работу. Сейчас он как раз отбывает наказание. Я думаю, он скоро убежит.

— Понятно. Полагаю, он выплачивает тебе щедрое содержание.

— Ни гроша. Все потому, что он ненавидит меня. Он бы хотел, чтобы я был девочкой. Все отцы ненавидят своих сыновей и боятся их. Молодая поросль угрожает старым деревьям и тому подобное. Это известная история.

— Очень плохо. Сколько тебе лет, Лео?

— Двадцать. Можно я буду называть тебя Мюриель?

— Пожалуй, да.

— А можно спросить, сколько тебе лет, Мюриель?

— Да. Мне тридцать четыре.

В следующую минуту Мюриель пришло в голову, что она могла бы сказать сорок четыре и ей бы поверили.

— Наверное, ты ужасно опытная?

— В чем?

— В сексе, конечно. А в чем же еще можно быть опытным.

— О да, у меня огромный опыт.

— Думаю, ты гетеросексуальна. В отличие от большинства современных девушек.

— Я совершенно нормальна.

— Никто не нормален, ни с кем не стоит встречаться, так-то вот. Какие парни тебе нравятся?

— Я предпочитаю мужчин постарше. Я хочу

сказать, намного старше меня.

— Жаль. Не то чтобы я собирался предложить свои услуги. Ты назвала бы это наглостью. Так или иначе, у меня есть подружка. Хотя нет, я бросил ее.

— Я не так уж интересуюсь сексом, — сказала Мюриель. — Много занималась им, но от этого устаешь.

Упорство Лео вместе с чрезмерной холодностью заразили ее легкомысленной беззаботностью. Она почти поверила в собственную утомленность опытной женщины средних лет. Она только жалела, что не сказала, будто ей по крайней мере сорок.

— Девушки устают, а мужчины — нет. Мне до смерти хочется производить эксперименты, но я не могу найти никого достаточно изобретательного. В действительности одно и то же повторяется снова, снова и снова. Ты мне не поверишь, как доступны пташки в моем колледже. Достаточно только взглянуть на них, и они опрокидываются на спину.

— Так что тебе уже надоело.

— О нет. Право, нет. Наверное, в моем возрасте биология препятствует скуке. Но все это довольно безрадостно. У них нет ничего в голове, а я думаю,

что секс — это и разговор тоже, не правда ли? Я не могу спорить с ними, как с тобой. Они такие вялые. И все настолько поверхностно: нет ни драмы, ни тайны, ни напряжения. Их обманывали прежде и будут обманывать впредь. Они просто проходят через твою постель, как через железнодорожную станцию.

— Думаю, что и ты проходишь через их постели таким же точно образом.

— Да, наверное. Но я не хочу этого. Представляешь, у меня никогда не было девственницы!

— Какое невезение. Я полагаю, их трудно найти в наше время.

— В том-то и беда. Жаль, что я не живу в те дни, когда девушек изолировали.

— Изолировали?

— Да. Заточали в монастыри, закрывали, никому не позволяли видеть. Девушки слишком доступны в наше время. Я бы хотел найти строгую, защищенную семьей девушку, укрытую в деревенском домике, которую никому не позволяют видеть, держат за ширмами, занавесками и закрытыми дверями.

— Осмелюсь сказать, она будет совершенно невежественной, когда ты доберешься до нее.

— Нет, нет. Она будет удивительной, чистой. И

подумай, какое волнение! Как в Японии. Только увидеть мельком чей-то рукав или вдохнуть аромат духов. Или неделями размышлять, как заглянуть в щель и увидеть волосы девушки.

— Не очень-то приятно для девушки, — заметила Мюриель.

Ее позабавило, что Лео все еще не знает о существовании Элизабет. Она оторвала какой-то замерзший комок от стены и бросила в янтарный круг воды.

— Меня не интересует их благосостояние. Кроме того, духовная девушка будет наслаждаться такой ситуацией. Все эти бесконечные планы, как передать письмо, ожидания ночью под окном, подкуп слуг и столько опасностей!.. Я сыт по горло обычными женщинами. Вот почему я никогда по-настоящему не был влюблен. Думаю, я смог бы любить только девственницу. Девушку, к которой никого не подпускали, держали укрытой от всех. Она будет чем-то вроде спящей красавицы. И я должен буду освободить ее и стану первым мужчиной, которого она увидит.

— «Как прекрасен человеческий род! И превосходен новый мир, который имеет таких людей в нем!»

— Что?

— Неважно. Ты задал себе трудную задачу.

— Невозможную. Мне придется стать гомосексуалистом.

— Лео…

— Да.

— Зачем ты мне все это наврал о своем отце?

— Вот те на! Откуда ты знаешь, что все это вранье?

— Потому что я задала ему множество вопросов о его жизни, и то, что он рассказал мне, явно было правдой.

— Конечно. Такие особы, как ты, быстро все выясняют. Ты проницательна. Я боюсь тебя.

— Но неужели ты ожидал, что я поверю всей этой чепухе?

— Не знаю. Думаю, да. Я врал просто для практики. Из артистизма.

— Из артистизма?

— Да, я эстет. У меня нет морали. Ты не веришь в Бога и во всю эту чепуху, не так ли?

— Нет, — ответила Мюриель. — Хотя не верить в Бога и не иметь моральных принципов — не одно и то же.

— Одно и то же, и ты знаешь это. Я — одна из проблем поколения. Я — одинокий волк, немного похожий на… как бишь его… этот парень у

Достоевского? Я намерен приучить себя к безнравственности, выбросить старые условности из своего мира, так что когда у меня появляется возможность солгать, я делаю это. Ценности теперь относительные, нет абсолютных ценностей. А жизнь такая короткая. Да еще бомба! А в один прекрасный день ты можешь проснуться и обнаружить у себя какой-то бугорок, и аллегоп — это рак.

— Я знаю. Чего ты хочешь от жизни, Лео?

— Я хочу стать знаменитым, могущественным и богатым. Этого хочет каждый, но не у всех хватает наглости признаться. Моральные люди просто отсталые. Они пока себя не понимают.

— Может, ты и прав, — сказала Мюриель.

— Ты согласна, старушка? Давай станем вместе малолетними преступниками. По крайней мере, это какая-то социальная роль.

— Только я не думаю, что это имеет смысл — пытаться стать тем, что ты называешь безнравственным. Мне кажется, условности проникли глубже, чем ты себе представляешь.

— Ты хочешь сказать, что я поступаю в соответствии с моралью, но действую другими средствами? Что за ужасная мысль!

— Возможно. Что еще ты делаешь, тренируя

себя в безнравственности?

— Я как раз собираюсь продемонстрировать.

— Что?

— Я хочу, чтобы ты одолжила мне денег.

Мюриель засмеялась:

— Полагаю, для того, чтобы ты потренировался не возвращать их назад!

Она повернулась и посмотрела на Лео. Лицо его стало розовым и влажным от тумана. «Кожаная» шапочка потемневших волос сделала его похожим на гонщика или юного гладиатора.

— У меня нет денег, — добавила она. — А сколько тебе нужно?

— Семьдесят пять фунтов.

— Ничем не могу помочь тебе. У меня нет ни гроша.

— Очень плохо. Но стоило попытаться, не правда ли? Ты могла оказаться чертовски богатой.

— А зачем тебе деньги?

— Видишь ли, это связано с девчонкой.

— Хмм. Может, тебе лучше что-нибудь украсть? Это было бы вполне безнравственно.

— Знаешь, я, пожалуй, так и сделаю. Я уже некоторое время ощущаю, что должен совершить какой-то поступок. В действительности я еще никогда не совершал поступка. А ты?

— Множество. А теперь, я думаю, нам лучше уйти.

Разговор, сначала позабавивший и развеселивший Мюриель, теперь стал угнетать ее. Возможно, потому, что стало еще темнее.

— Знаешь, я думаю, ты — чудо. Ты нечто совершенно особенное. Свободная женщина, свободная, как мужчина. Я буду твоим кавалером. Ты будешь ставить передо мной задачи. Как рыцари и дамы. Извини, что я наврал тебе.

— Ничего. Только в будущем не тренируйся на мне.

— Послушай, может, тебе следует наказать меня за ложь?

— Возможно. Какой способ ты предлагаешь?

— Не знаю. Я должен заплатить штраф?

Мюриель, начавшая было подниматься, снова вернулась к быстро бегущей воде. Теперь она была пурпурно-серой.

— Ты должен принести жертву Темзе.

— Великолепно! Что я должен принести в жертву?

— То, что у тебя есть с собой и чем ты дорожишь.

— Я знаю. Шарф из моего колледжа. Я его действительно люблю. Это будет символизировать

восхитительную жизнь без математики.

Он шагнул вниз, срывая шарф с шеи, и широким жестом швырнул его в воду. Шарф бесшумно упал, потемнел и не успел погрузиться, как его унесло в круг тумана.

Все произошло так быстро, что Мюриель онемела от огорчения. Это было жестоко, как будто кого-то утопили. Она поднялась на верхнюю ступень.

— Подожди минуту, Мюриель. — Лео был рядом с ней. — Что?

— Мюриель, ты тоже солгала.

— Солгала?

— Тебе вовсе не тридцать четыре, моя дорогая.

Она засмеялась, прислонив голову к стене:

— Хорошо. Мне не тридцать четыре. Но я не скажу тебе, сколько мне. Довольствуйся тем, что я старше тебя.

— Старшая женщина. Ничего не поделаешь. Но послушай, не кажется ли тебе, что ты тоже должна заплатить мне штраф?

— Может быть. Какой же?

— Поцелуй меня.

Прежде чем она успела двинуться, он уперся в стену по бокам от нее и уже закрывал глаза. Они стояли неподвижно, губы к губам. Глаза Мюриель

тоже закрылись.

Глава 7

Маркус Фишер решил, что обстоятельства складываются так, что непозволительно дать им зайти еще дальше. Он звонил брату не менее шести раз и получал отпор от непроницаемой Пэтти. Телефонные звонки доходили только до нее, твердой и непреклонной. Его письма к Карелу и Элизабет оставались без ответа. Он сидел в своей комнате в Эрлз-Корте, наблюдая, как становится совершенно темно в три часа дня, и пришел к заключению, что больше не в состоянии работать. Если звонил его телефон, то это всегда оказывалась Нора.

Свою книгу с рабочим названием «Мораль в мире без Бога» Маркус начал писать перед Рождеством, писал быстро и надеялся, что ему удастся так же быстро продолжать работу. У него было много материала, нужно просто привести его в порядок. Он решил отказаться от исторического введения и не упоминать имен ранних мыслителей. Пусть критики определят его пристрастия. Он будет говорить просто, опираясь только на свой авторитет, и его ясная, как хрусталь, и на-

дежно выстроенная аргументация не нуждается в ссылках на других, хотя он мог скромно признать, что в конце концов является последователем Платона.

Его цель была, как он провозгласил, демифологизация нравственности. По сравнению с этим демифологизация религии, которой так жизнерадостно и бездумно занимались теологи, была делом сравнительно меньшего значения. Лишенная мифа религия может умереть, но нравственность должна остаться жить. Религия без Бога, веками неустанно развивающаяся из богословской логики, не представляет собой ничего, кроме полуосознанного понимания того, что эпоха суеверий окончена. Ее возможным следствием была мораль, лишенная Блага, представляющая собой действительно серьезную опасность. Маркус намеревался спасти идею Абсолюта в морали, показав, что она заключена в любой человеческой деятельности, которая может быть подвергнута этической оценке на ее первоначальном уровне. Делая это, он стремился избежать как теологической метафоры, так и незрелости экзистенциализма, ставшего Немезидой академической философии.

Он закончил первую главу, озаглавленную

«Метафизика метафоры», в которой доказывал, что идея духовного мира как чего-то авторитарного, магнетического и изолированного не может рассматриваться в качестве метафизического понятия. Черновой набросок раздела, объясняющего роль Прекрасного как духовного откровения, он пока отложил и, возможно, использует как кульминацию всей книги. Теперь Маркус работал над главой, которая называлась «Некоторые основные образцы оценочных суждений», но сейчас пришел к заключению, что совершенно не способен продвигаться. Он отложил решение о введении идеи априорного синтеза и был сейчас почти парализован этим, потеряв способность быстрого восприятия. Его теории больше не излучали собственной энергии. Их победила высшая сила. Он не мог думать ни о чем, кроме Карела и Элизабет, и вел долгие воображаемые разговоры с братом. А образ Элизабет, ее новое лицо женщины, прикрытое, как вуалью, светлыми развевающимися волосами, провожало его до постели и преследовало даже во сне.

После нескольких дней таких мучений Маркус решил, что он должен каким-то образом положить этому конец, проникнув в дом священника

и встретившись с Карелом. К тому же ему очень хотелось увидеть Элизабет. Его начала ужасно мучить мысль, что девушка считает, что он не заботится о ней. Почему он перестал писать ей? Он легко мог показать, что все еще помнит ее. Он действительно много думал о ней. Почему ему никогда не пришло в голову послать ей цветы? Может, сделать это сейчас? Он по-идиотски позволил ей стать чужой, а теперь из подернутого туманной дымкой призрачного шара ее странного одиночества она и притягивала, и пугала его.

После своей неудачи у парадной двери дома священника, которую предвидел, он еще дважды приходил к нему, ходил вокруг, глядя на освещенные окна и размышляя, какая комната кому принадлежит. Он даже толкнул заднюю дверь, которая оказалась запертой. Это вызвало чувства вины и страха, которые доставили Маркусу своеобразное наслаждение. Он ничего не рассказал Норе о своих похождениях.

У Норы был свой собственный план действий. Она пригласила епископа вместе с Маркусом в начале следующей недели на обед. Тема для обсуждения будет следующая: «Что делать с этим человеком». Бедная Нора становилась неуправляемой, когда дело касалось Карела. Конечно, у

нее были свои неприятности, связанные с этим домом. Маркус знал, что она написала несколько писем Мюриель и получила только один короткий уклончивый ответ, в котором совершенно проигнорирована просьба Норы о встрече в ближайшее время. Нора обвиняла в этом Карела. «Он превращает окружающих в таких же сумасшедших, как и сам», — заявила она, больше не сдерживаясь. Обычно она называла Карела «невротиком». Вооружившись в последнее время новыми «историями», дошедшими из другого прихода, она пошла дальше и стала называть его «неуравновешенным», «психически больным» и «дурным человеком». Его следует лишить должности. В конце концов, есть обязанности перед общиной. Нужно сделать так, чтобы епископ понял это. Маркус сначала подсмеивался над ее энтузиазмом, но потом призадумался. Какой-то отблеск от Карела упал даже на него.

Следуя неясному инстинкту, Маркус все время скрывал от Норы степень личного огорчения из-за брата. Она бы, безусловно, не одобрила то, что он называл своими экспедициями. И было лучше оставить ее в неведении. Это показалось бы ей мелодраматичным, неразумным, и, главное, она бы сочла, что здесь отсутствует прямота, кото-

рую ценила превыше всего. Маркус с некоторой долей удовлетворения размышлял о том, каким непостижимым образом прямолинейность исключается из всего, что имеет отношение к Карелу.

Кроме того, понимая, что рискованное предприятие может закончиться непредсказуемо, он предпочитал обходиться без свидетелей, чтобы не выставить себя на посмешище. Во всяком случае, сейчас у него не было настроения общаться с Норой. Она же слишком настойчиво стремилась поселить его на верхнем этаже своего дома и относилась к этому как к делу решенному, оставалось только обсудить детали. Маркус не мог припомнить, чтобы он давал повод к этому.

Что же Маркус намеревался сделать? Просто каким-то образом проникнуть в дом священника, предположительно через заднюю дверь или окно, если понадобится, оттолкнуть Пэтти и предстать перед братом. По мере того как необходимость увидеть Карела все возрастала, препятствия, казалось, уменьшались. Он непременно проникнет в дом священника, полагая, что знает своего брата достаточно хорошо, чтобы надеяться: раз уж он там окажется, то Карел в худшем случае поиронизирует над ним, а возможно, изобразит

удивление: к чему так много суеты из-за пустяков? Он как раз собирался ответить на письмо. К чему такое чрезвычайное волнение, мой дорогой Маркус? Действительно, к чему? Затем он увидит Элизабет, и все будет хорошо. На них снизойдет великий покой и прольется яркий свет, свет утраченного детства. Или произойдет нечто невообразимое?

Этим вечером Маркус радовался туману. Был уже девятый час, и вокруг никого не было, когда он переходил по тротуару через строительную площадку. Он двигался очень тихо и ощущал, как звук его шагов, чуть слышно отражаясь, будто вился вокруг его ног, не способный прорваться сквозь густой воздух. На сильном холоде он с такой радостью ощущал тепло своего тела, что казался себе ошеломленным и слегка пьяным. Он решил остановиться передохнуть, как только увидит огни дома священника, — постоять спокойно, собраться с мыслями, перевести дыхание, а то уже начал немного задыхаться от волнения. Но это по-своему было приятно! Должно быть, теперь он подошел близко. Но когда напряг зрение, чтобы увидеть освещенные окна, его левая рука внезапно обо что-то ударилась. Это была стена дома священника. Маркус подошел к ней вплот-

ную, сам не заметив того. Дом был погружен в кромешную тьму.

Маркус прикоснулся к стене, и его пальцы скользнули по острому углу, ощущая гладкий кирпич с одной стороны и цемент — с другой. Он содрогнулся, чувствуя себя человеком, попавшим в засаду. Маркус приник к дому, ощущая, как угрожающе бьется внутри него сердце. Оно, казалось, поднималось над ним, склонялось к нему и исчезало в тумане. Он беспомощно вцепился в дом, как можно на минуту вцепиться в более сильного противника. Почему там не было света? Все они не могли уйти. Единственное, что было точно известно о домочадцах, — они не выходили из дома. Казалось, они поджидают его. Он представил себе их ужасные разговоры, как они ждут, прислушиваясь. Маркус двинулся вдоль фасада дома, скользя по замерзшей земле. Ногам стало больно от ухабистой, твердой, как железо, почвы. Фасад дома, казалось, излучал холод. Маркус полз вдоль него, как насекомое, прижавшись к нему руками, коленями, носками ботинок. Должно быть какое-то простое объяснение. Несомненно, огни зажжены с другой стороны дома. Возможно, они все собрались в столовой или на кухне. Затем совершенно неожиданно стена отступила.

Маркус замер. Перед ним простиралась еще большая тьма. Это оказалась дверь, на которую он нечаянно нажал и открыл. Его снова охватило чувство, будто он попал в ловушку. Он не мог припомнить, что видел эту дверь, и на минуту засомневался — не пришел ли во тьме к какому-то совершенно другому дому. Он приоткрыл дверь пошире, и сильный знакомый запах, который он не смог сразу же узнать, смешался с пропитанным туманом воздухом. Маркус поколебался, затем просунул вперед голову и сделал шаг. В следующее мгновение он уже падал вниз головой.

Разница в уровнях фактически была меньше фута, но Маркусу показалось, будто он летит в глубокую яму. Дверь за его спиной захлопнулась, и он остался лежать в полной тьме, вытянувшись во весь рост на неровной поверхности. Все это было похоже на внезапное нападение, и минуту Маркус лежал совершенно неподвижно, потрясенный и перепуганный. Он даже не был абсолютно уверен, не ударили ли его сзади. Испугавшись, что сможет здесь задохнуться, он попытался сесть, широко открывая рот и ловя воздух. Раздавался странный шум, который, казалось, проникал откуда-то снизу. Может, он вовсе и не в доме священника, а упал в сточную

трубу или какую-то подземную канаву, где может потерять сознание от ужасных испарений. Ему наконец-то удалось сесть. Он попытался успокоить себя, медленно и ровно дышал и постепенно стал узнавать запах. Это был, несомненно, запах угля. Он упал в угольный подвал дома священника.

Испытывая огромное облегчение, Маркус начал осторожно карабкаться на груду угля. Плечо очень болело от удара, а одну ногу он, казалось, не чувствовал. Тьма пугала его, и он пошарил в кармане в поисках спичек. Ему пришло в голову, что если это действительно угольный подвал, значит, отсюда должен быть проход внутрь дома. Он зажег спичку и поднял ее.

Сначала ему показалось, что он находится в огромной черной пустоте, просторной, как амфитеатр. Теперь же стены чуть ли не давили его своей близостью, а потолок почти касался его головы, когда он неуклюже сидел на груде угля. Он сам себе казался чудовищно огромным в маленьком подвале. Увидел при свете свою черную трясущуюся руку и угол стены, обтянутой треугольником слегка подрагивающей паутины. Рука его тряслась, и колеблющийся свет вскоре погас, но он успел рассмотреть другую дверь.

Она была прямо перед ним, в нескольких шагах, высотой в два фута. Секунду спустя Маркус на четвереньках входил в дом священника.

Здесь тоже было темно, хоть глаз выколи. Он неловко поднялся на ноги и начал двигаться на ощупь, пока не коснулся стены. Постоял, прислушиваясь, а затем поковылял вперед так тихо, как только мог, придерживаясь одной рукой за стену, а другую выставив вперед перед собой. Его дыхание, казалось, производило в выжидающей тишине очень сильный шум. Вытянутая рука коснулась чего-то, он отдернул руку, потом коснулся снова и почувствовал, что это панель двери, скользнул пальцами вниз, пока не нашел ручку, и очень медленно открыл дверь в другое черное пространство. Он сделал шаг-другой и начал снова искать спички. Затем внезапно услышал совсем рядом голоса. Голос, в котором он узнал Пэтти, произнес:

— Бесполезно снова звонить в электроэнергетическое управление.

Другой голос, должно быть принадлежавший Мюриель, отозвался:

— Почему? Ты просто подняла недостаточно шуму в прошлый раз.

— Тогда звоните вы! Это не только у нас. Свет

выключен во всем районе. Бесполезно поднимать шум.

— Черт побери, у тебя даже не хватило здравого смысла купить свечи…

— Ладно, ладно…

— Пэтти, — позвал Маркус, или, скорее, попытался позвать. Его голос так дрожал, что ему удалось издать только хриплый крик. В тот же момент он зажег спичку и тотчас же уронил ее. Спичка погасла.

Вокруг воцарилось молчание. Затем голос Пэтти встревоженным шепотом произнес:

— Там кто-то есть…

— Что ж, мы сейчас выясним, кто это… Неподалеку вспыхнула спичка. Маркус протянул руку по направлению к свету. Он хотел, чтобы его узнали.

— Ох! Черный человек. Он размахивает руками.

— Не будь дурочкой, Пэтти. Боже, это дядя Маркус.

Спичка догорела, и Маркус стал смутно различать фигуры рядом с собой. Он сделал шаг вперед. Послышался приглушенный новый голос и звук удаляющихся шагов. Затем раздался шелест тяжелой материи, и что-то вытеснило тьму рядом

с ним. Чья-то рука слегка задела его, разыскала рукав и крепко сжала запястье.

— Маркус.

— Карел.

Все это походило на поимку преступника, но Маркус с глубоким облегчением подчинился. Чувство вины и страх совершенно исчезли.

— Пойдем наверх, Маркус. Ты нашел нас в необычный момент.

Рука потянула его за запястье, и Маркус пошел следом, споткнулся о ступеньку и начал подниматься. Ткань сутаны задерживала его, касаясь колен и бедер при каждом шаге, и воспоминание о том, что, возможно, так же вела его когда-то мать, на минуту вызвало оцепенение. Поднявшись на верхнюю площадку, он обнаружил, что глаза его закрыты. Его провели в комнату, и дверь позади закрылась. Запястье отпустили.

— Скоро дадут свет? — спросил Маркус. Голос прозвучал жалобно, как у ребенка.

— Да, скоро.

Маркусу показалось, что он во тьме уже много часов. Тьма в комнате была бархатистой, без каких-либо признаков света. Маркус ощущал ее, как паутину, на своем лице.

— О, Карел, как я рад видеть тебя.

— Довольно странное высказывание при подобных обстоятельствах.

— Карел, что это за странный шум?

— Это подземка.

— Ты должен был позволить мне увидеть тебя.

— От тебя здорово пахнет углем, я полагаю, это объясняет, как ты проник сюда.

— Мне ужасно жаль, Карел, ужасно жаль…

— Ты не причинил мне никакого вреда, дорогой Маркус. Боюсь только, что ты испортил свою одежду.

— К черту мою одежду! Скажи, почему ты не позволял мне увидеть тебя?

— Нам нечего сказать друг другу.

— Так не может быть, не может быть, — возразил Маркус. Тьма страшно угнетала его. Теперь казалось, что она струится сквозь его голову. Он зажмурился, чтобы избавиться от этого. — Ты мой брат, — произнес он, как заклинание.

— Не очень-то оригинальная идея.

— Это не идея, это факт! — Глаза Маркуса заблестели и как будто наполнились черными слезами. Он вытянул невидимую руку, ничего не коснулся и чуть не упал. — Не говори так, Карел. Я должен увидеть тебя и Элизабет.

— Элизабет больная девушка. Она не принима-

ет посетителей.

— Я не посетитель. Я ее опекун.

— Ты ничего не сделал для Элизабет. Едва ли написал ей письмо за многие годы. Ты ей не опекун.

— Нет, опекун! — закричал Маркус. Его крик прозвучал как бесполезная попытка заявить о своем существовании.

— Ты только расстроишь ее. Она живет в своем мире.

— Черт побери, что ты имеешь в виду? Не хочешь же ты сказать, что она стала странной, неуравновешенной или что-то в этом роде?

— Что за выражения ты употребляешь? Нет, нет. Просто она живет в другом мире, отличном от твоего.

— Но я должен убедиться…

— Тебе не кажется, что ты становишься слишком дерзким? — Раздался смех и тихое шуршание тяжелой материи. Маркус отпрянул.

— Прости, Карел. Боюсь, я в полном замешательстве. Мне так хочется, чтобы зажгли свет. Ужасно странно говорить в такой тьме. Мне не по себе. Карел, где ты? Неужели у тебя нет фонаря, свечи или еще чего-нибудь? Я не могу найти свои спички.

Маркус попытался двинуться в темноте. Ему было необходимо знать, где Карел, дотронуться до него. Во тьме раздался голос Карела:

— Стой спокойно, а то еще уронишь что-нибудь. Через минуту я провожу тебя до двери.

— Не мучай меня так. Ты встретишься со мной завтра, хорошо?

— Пожалуйста, не пытайся больше увидеть меня, Маркус. Я тоже не принадлежу твоему миру. И только по какой-то метафизической ошибке мы вообще можем понимать друг друга.

— Карел, как ты можешь быть таким недобрым, поступать так не по-христиански.

— Подожди, подожди. Мне кажется, мы не должны опускаться до такого уровня.

— Но ты же не перестал верить в Бога, правда, Карел? По крайней мере это…

— Надеюсь, ты понимаешь, в таком возрасте ни один разумный человек по-настоящему не верит в Бога. Мне сказали, что ты пишешь книгу об этом.

— Но это же неправда, Карел, все, что говорят о тебе?..

— Я не знаю, что обо мне болтают.

— Что ты больше не веришь, но продолжаешь…

— Если нет Бога, тем более нужен священник.

— Но, Карел, это было бы несправедливо, ужасно.

— Если там никого нет, никто не станет возражать.

— Ты шутишь. Все это — часть пытки… Да еще свет погас… Карел, я просто ничего не понимаю. О тебе говорят такие странные вещи. Если ты потерял свою веру, ты безусловно… Но нет, ты просто смеешься надо мной.

— Думаю, ты веришь в Бога, Маркус. Ты, несомненно, веришь в возможность богохульства.

— Но ты, конечно, должен…

— Подожди. Никакой суд, о котором ты мечтаешь, не волнует меня. А сейчас я провожу тебя.

— Я не верю ни слову из того, что ты сказал.

— Тем больше для тебя оснований уйти.

— Нет, нет, нет!

Маркус физически ощутил суматоху вокруг себя, как будто бы тьма кипела и бурлила. Он зашатался, больше не в состоянии сохранять равновесие после столь долгой слепоты.

— Карел, где ты? Прости, но я должен прикоснуться к тебе хоть на мгновение. Дай мне, пожалуйста, руку. Я здесь. Я протягиваю руку.

Маркус шагнул вперед во тьме, вытянув перед

собой руку. Он коснулся чего-то холодного и мясистого, двинувшегося ему навстречу, он сжал это и затем издал громкий крик. Что-то тяжело упало на пол. Подол сутаны, чуть задев, проскользнул мимо, и Карел рассмеялся.

— Что это? — бессвязно пробормотал Маркус.

— Просто морковь. Плоть от плоти моей.

— Думаю, мне лучше уйти, — сказал Маркус.

— Хорошо. Вот сюда.

Твердая рука легла сзади на его плечо и подтолкнула.

Когда Маркус оказался на лестничной площадке, ему в голову пришла смутная мысль, что он мог бы выкрикнуть имя Элизабет. Но темнота пугала его. Крик в этом кромешном мраке был бы ужасен. Он спустился по ступеням и покорно стоял, пока открывали дверь. В пропитанном туманом воздухе показался холодный круг пространства.

— Я приду завтра, — сказал он и обнаружил, что говорит шепотом.

— Нет. До свидания.

Легкий толчок выпихнул его за дверь. Маркус сделал шаг-другой по обледеневшему тротуару и услышал, как за ним заперли на засов дверь. Ноги его подкосились, и он медленно упал на

колени, а затем сел на тротуар. И пока сидел так, он увидел, что в доме зажглись все огни.

Глава 8

— Извините меня, это Антея. Антея Барлоу из пастората. Вы помните меня? Мне бы хотелось узнать…

— Я помню вас, миссис Барлоу. Если вам нужен священник, боюсь, вам опять не повезло. Он не принимает посетителей.

— О Боже. Видите ли, мне действительно…

— Извините.

Пэтти чувствовала себя совершенно несчастной. Ей не нравилось в Лондоне. Туман и одиночество ужасно ее угнетали. Она наконец-то нашла дорогу в магазины, но это была слишком долгая и утомительная прогулка, а возвращаясь через строительную площадку, она всегда нервничала. Однажды она увидела человека, стоявшего совершенно неподвижно у тротуара, и поняла, что не может заставить себя пройти мимо него. Через секунду-другую она узнала в нем Лео Пешкова. Он внезапно засмеялся и скрылся в тумане, подскакивая и размахивая руками. Молодой человек был ей неприятен, и инцидент напугал ее.

Одновременно ей становилось все труднее

выполнять роль привратника. В старом приходе люди понимали странности Карела. Здесь же она часто не знала, что сказать. Карел велел ей всех отсылать. Эти усилия выматывали ее. Так как Карел приказал в ее отсутствие дверь не открывать, то она часто, возвращаясь домой из магазинов, находила несколько человек, с надеждой ожидающих у входа. Маркус Фишер продолжал звонить, и миссис Барлоу заходила каждый день. Были и другие посетители, в том числе член какого-то комитета, не принимавший «нет» в ответ, особенно после того, как ему уже трижды отказали. Тем не менее Пэтти не жаловалась.

Опасения Пэтти за Карела, так и не ставшие чем-то ясным или определенным, все усиливались. В том приходе он находился под защитой привычки, был «этим странным священником», и люди даже гордились его причудами. Здесь же он казался более встревоженным и совершенно незащищенным. Огромный, как исполин, он выделялся на фоне всего окружения, словно обитатель иного измерения. Он едва ли вообще присутствовал в доме священника. И, охраняя его дверь, Пэтти иногда думала, что она заслоняет собой создание, на которое тотчас же напали бы охваченные ужасом заурядные люди, которые

звонили у дверей. Узнай они о его существовании, они сокрушили бы все окружающее, но появление Карела могло, возможно, наоборот, и усмирить его врагов.

Пэтти понимала абсурдность этих мыслей. Но так как она сама не была защищена от постоянной враждебности внешнего мира, то она не могла защитить и его. Угрозой было проникнуто буквально все в доме. Она тоже в свое время прошла через страх перед ним. Он человек настроения и часто был резок с ней. К примеру, он ужасно рассердился на нее за то, что она не закрыла дверь угольного подвала и дала возможность проникнуть в дом Маркусу Фишеру, который в памяти Пэтти остался огромным негром. Карел отругал ее, после чего встряхнул и оттолкнул от себя. Потом Пэтти долго плакала из-за этого в своей комнате. Она чувствовала себя отвергнутой, будто все ее существо внушало ему отвращение. И правда, она еще ни разу не мылась в ванне с тех пор, как переехала в новый дом. В ванной, находившейся в неотапливаемой части дома, было очень холодно.

Пэтти продолжала предаваться мечтам о том, чтобы уйти и начать жизнь сначала. Но ее мечты были несерьезными. Они мелькали, как едва

освещенные кадры комиксов, играя успокаивающую роль, когда Пэтти убирала дом. Рассказы Юджина Пешкова о своей жизни в различных лагерях добавили много нового к этим иллюзорным картинам. Пэтти представляла себя самоотверженным работником, занимающимся улучшением бытовых условий, и жизнь ее, посвященная страждущим, обретала смысл. Она должна была действовать анонимно, но обратила бы анонимность своей славы в свой венец. Она, конечно, приняла во внимание довольно циничное замечание о самодовольстве социальных работников. Должен ли человек, помогая страждущим, страдать сам? Истинно добрый человек поступал бы так непроизвольно, как Иисус Христос. Юджин сказал, что для этого нужно быть святым. Что ж, Пэтти могла бы стать святой. Как она могла узнать, не святая ли она, если никогда и не пыталась? А может, все эти мечты исходили от желания счастья, счастья, не омраченного чувством вины? Это приводило ее в замешательство.

Возможно, появилась еще одна причина, по которой мечты Пэтти о святости утратили свою настоятельность. Юджин Пешков начал занимать определенное место в ее жизни и сознании.

Дружба так внезапно ворвалась в жизнь Пэтти, что ей казалось, будто она вошла в широко распахнутую дверь и удивилась этому. «Узнавать кого-либо» всегда было очень трудной задачей для Пэтти, требовавшей много заботы и усилий с ее стороны. В ее отношениях с людьми всегда присутствовало какое-то смущение. Фактически она толком никого, кроме Карела, не знала. Но с Юджином она сразу почувствовала себя абсолютно непринужденно.

Почти равное положение слуг, работающих у одного работодателя, помогло ей окончательно избавиться от волнений. Она только жалела, что позволила ему называть себя Пэтти, а не Патрицией. Но тогда она еще не была достойна имени Патриция.

В Юджине была какая-то удивительная уверенность и законченность, а это притягивало в Пэтти то, что было в ней самой изуродовано. Он был настолько поглощен собой, что излучал какое-то сияние, возможно, то был свет его раннего детства, в чем так нуждалась Пэтти и чего она никогда не имела. К тому же он казался ей чистым человеком, и это согревало ее сердце самым непостижимым образом. Пэтти жаждала его чистоты, едва осознавая, что это значит, она по-

собачьи о нее терлась. Юджин олицетворял собой добрый простой мир, из которого она безвозвратно выпала. А еще она полюбила его страдания и завидовала их значительности. «Гитлер», «Прага» — эти слова были наполнены смыслом для тех, кто что-то тогда пережил. Конечно, в то время это так не воспринималось. Но все же существовало утешение и возможность потом понять, что с человеком произошло нечто имеющее свое название. Когда она попыталась рассказать Юджину о своем детстве, ей не удалось составить рассказ — только маленькие бессмысленные обрывки. Его жизнь на всем ее протяжении имела смысл. Смысл ее жизни был сокрыт в будущем, в том времени, когда она станет Патрицией.

Разумеется, она ничего не рассказала Юджину о своей связи с Карелом. Это ее очень беспокоило и не позволяло новой дружбе сделать ее счастливой. Сама суть ее существа, полная жизненных сил, устремлялась к Юджину, но все вокруг, как старая густая растительность, сохраняло едва различимый налет ее отношений с Карелом. Это та материя, из которой она состояла. И которая каким-то ужасным, неотвратимым образом представляла Карела. Та Пэтти, которая дружила с Юджином, являла собой всего лишь крошечную

подающую надежды куколку внутри реальной Пэтти. Сможет ли она когда-нибудь рассказать об этом Юджину? Она думала, что нет.

Пока Пэтти смотрела вниз на оживленное, энергичное лицо Антеи Барлоу, она думала о предложении Юджина показать ей море. Станет ли возражать Карел? Было необычайно странно, что вообще такой вопрос мог возникнуть. И все же мысль о том, что однажды она сможет поехать с Юджином и увидеть море, наполняла ее особой чистой радостью.

— Извините, миссис Барлоу, — повторила она и стала закрывать дверь.

— Я рискнула послать ему записку по почте.

— Боюсь, он ее не прочел.

— Можно мне зайти на секунду? Я хочу кое-что оставить. Миссис Барлоу каким-то образом прошмыгнула мимо Пэтти в холл. Обеспокоенная, Пэтти поколебалась, а затем закрыла дверь. Она бросила быстрый взгляд назад на лестницу. В холле было мрачно и довольно темно, его освещала единственная голая электрическая лампа, висевшая посередине, распространяя вокруг тусклый свет, делавший все вокруг переменчивым и нереальным. Казалось, даже мебели неуютно при холодных жидких бликах. Плетеные стулья, стол

с ножками из бамбука, современный сундук под дуб бесцельно громоздились вокруг. Пэтти стояла на месте и смотрела на Антею Барлоу. Она знала, что Антея — ее враг.

— Вы не возражаете, если я сниму пальто? Только для того, чтобы не замерзнуть, когда снова выйду на улицу. Мне кажется, сегодня холоднее, чем всегда. Начинает идти снег. Меня так волнует снег, а вас?

Пэтти теперь увидела, что волнистый черный мех пальто миссис Барлоу весь усеян мельчайшими белыми кристалликами, как будто покрыт каким-то тончайшим кружевом. Тяжелое пальто шлепнулось на спинку одного из стульев и оттуда соскользнуло на пол. Пэтти не подняла его.

— Что вы хотите оставить? К сожалению, я очень занята.

— Всего лишь эти подснежники. Маленький подарок священнику. Я осмелилась написать крошечную записку, чтобы передать вместе с цветами. Не правда ли, они прелестны?

— М-м-м, — промычала Пэтти.

Миссис Барлоу, плотная, в черном шерстяном платье с брошью в форме корзины цветов, похожей на бриллиантовую, достала небольшой бумажный пакет из какого-то тайника. Сне-

жинки на ее меховой шляпе теперь растаяли и напоминали маленькие стеклянные бусинки. Она передала пакет Пэтти. Письмо было приколото к шуршащей бумаге. Взглядом, каким обычно смотрят на младенца, Пэтти разглядывала цветы, блестящие, как белая глазурь или мята. Они издавали легкий аромат.

— Такие милые, правда. Февральские красавицы, как называет их фольклор. Считается, что они расцветают второго февраля, это праздник Сретения в честь очищения Богоматери.

— Они хорошенькие, — неохотно признала Пэтти.

— Эти расцвели рано и не могут ждать! Я думаю, они с островов Силли. Как и большинство ранних цветов. Маленькие глупышки, как я всегда их называю!

— Хорошо, спасибо, миссис Барлоу, а теперь…

— О, пожалуйста, позвольте мне остаться еще на минуту. Я не задержу вас, но я так много хочу спросить. Вы знаете этот призыв реставрировать церковь…

— Я не знаю.

— О, понимаю. Я думала, отец Карел рассказал вам об этом.

— Священник ничего не говорил об этом. —

Пэтти возмутила ее фамильярность.

— Что ж, возможно, он не рассказывает вам о таких вещах. Во всяком случае, существует план — отреставрировать церковь, и в связи с этим есть предложение, что отцу Карелу следует поехать в Америку для ходатайства о получении денежных средств.

— Боюсь, я ничего не знаю об этом, миссис Барлоу. А сейчас должна попросить вас… — Пэтти боялась, что Карел очень рассердится на нее за то, что она впустила эту беспокойную женщину в дом. Она испытывала почти суеверный ужас при мысли, что он может выйти на площадку и незваная гостья увидит его.

— Но это очень важно. Завтра состоится собрание комитета, вот почему я очень хочу перемолвиться словечком с отцом Карелом. Как вы думаете?..

— Извините.

— Он болен?

— Нет, не болен, — сказала Пэтти. Ей не понравилась перемена тона. Миссис Барлоу была решительной женщиной и отнюдь не такой глупой, какой выглядела.

— Но я хотела сказать, может, он чувствует себя несколько перегруженным? Всем нам жизнь ино-

гда начинает казаться не по силам, не правда ли? Мы становимся немного неуравновешенными, немного подавленными, немного…

— Священник совершенно здоров, — сказала Пэтти.

— Я была бы так рада побеседовать с ним. Полный сочувствия посторонний, не имеющий большого опыта… может, мне даже удастся помочь. И в действительности я…

— Извините, нет, — отозвалась Пэтти.

— Мне бы так хотелось что-нибудь, хоть что-нибудь сделать.

— Я очень занята, — сказала Пэтти.

— Да, мы все заняты, особенно мы, женщины. Мне очень жаль, что вы не позволяете мне помочь. Помогать людям — вот моя цель. Например, я была бы ужасно рада покатать Элизабет в моей машине, когда погода немного улучшится.

— Элизабет? — переспросила Пэтти. Она с изумлением всматривалась в широкое, до безумия восторженное лицо, влажное и покрасневшее, как вареный рак. — Элизабет? Откуда вы знаете о мисс Элизабет? — говоря так, она подумала о девушке привычным образом, как будто та была преступной тайной. Часто люди и не подозревали о существовании Элизабет. Карел считал, что так

будет лучше. Даже Юджин пока не знал, что в доме есть еще одна девушка. Пэтти все не решалась рассказать ему, отчасти потому, что так же звали его пропавшую сестру.

— Ну, знаете ли, приходские сплетни. В этом приходе ничего невозможно удержать в тайне. Боюсь, все мы — толпа настоящих старых пустомель.

— Но это не настоящий приход. Здесь нет людей. Не могу понять, как…

— Элизабет, должно быть, иногда немного скучает. Так тяжело для молодой девушки! Я была бы так рада прийти и поговорить с ней.

— Думаю, вам лучше уйти, миссис Барлоу.

— Конечно, у нее есть вы и Мюриель. Почти семья. Наверное, вы все очень преданы отцу Карелу. Я знаю, вы преданы, Пэтти. Можно мне называть вас Пэтти? В конце концов, мы встречались уже много раз. Вы уже давно служите у отца Карела, не правда ли?

— Вот ваше пальто, — сказала Пэтти. Она бросила влажный меховой узел на обтянутую черной шерстью грудь миссис Барлоу и широко распахнула дверь. В холл проникла холодная темнота полудня, несколько снежинок влетели, крутясь и вращаясь, и опустились на половик.

Антея Барлоу вздохнула и надела пальто.

— Ну хорошо, боюсь, я немного сумасбродна. Вы привыкнете ко мне. Люди со временем привыкают.

Она посмотрела на Пэтти, затем улыбнулась призывно и протянула руку, приглашая ее не к формальному рукопожатию, а к теплому непосредственному прикосновению пальцев двух друзей. Пэтти проигнорировала протянутую руку.

— Я приду еще, — пробормотала Антея Барлоу.

Она вышла во тьму, и едва заметное движение снежинок скрыло ее удаляющуюся фигуру. Пэтти закрыла дверь и заперла на засов. Затем она прислушалась и с облегчением услышала наверху отдаленные звуки «Щелкунчика».

Она развернула подснежники и выбросила бумагу вместе с запиской миссис Барлоу в корзину для бумаг. Она не собиралась беспокоить Карела настойчивыми просьбами миссис Барлоу, а подснежники решила отдать Юджину. Она смотрела на них. Четкая бледно-зеленая линия очерчивала зубчатый ободок каждой склоненной белой чашечки. Цветы внезапно повлияли на ее настроение. Пэтти смотрела на них с удивлением. Она увидела в них не только цветы. В нескончаемом

потоке темных дней они как бы дали передышку, создали некую брешь, сквозь которую она увидела нечто большее, чем просто весну.

Окликая заблудшую душу и плача при вечерней росе, можно удержать звездный свод и возродить павший свет.

Бережно прижав подснежники к своему рабочему халату, она подошла к окну. Сложный морозный узор покрывал внутреннюю сторону окна. Она поскребла его пальцем, проделала круглое отверстие в сахарно-белой изморози и выглянула на улицу. Снег, едва видимый в желтоватом сумраке, теперь падал обильно, снежинки, кружась, опускались, составляя огромный сменяющийся узор, слишком сложный для глаза, бесконечный и проникающий в тело тоскливой гипнотической лаской. И весь мир тихо кружился и колебался. Пэтти долго стояла в оцепенении и смотрела на снег.

Внезапно позади себя в доме она услышала громкий крик, звук открывающихся дверей и бегущих ног, кто-то настойчиво выкрикивал ее имя.

Она быстро повернулась и увидела вбегающего в холл Юджина, огромного и расстроенного, размахивающего руками.

— О, Пэтти, она пропала!

— Что пропало?

— Моя икона. Кто-то украл ее. Я оставил дверь открытой, и ее украли!

— О, Боже, Боже, — пробормотала Пэтти. Она раскрыла перед ним свои объятия. Он приблизился к ней, и она так крепко обняла его, что цветы между ними смялись. Где-то наверху над ее головой расстилалась тьма. Она вдыхала запах подснежников, раздавленных грудью Юджина, и продолжала обнимать его, приговаривая:

— О, Боже, Боже, Боже.

Глава 9

Подали намазанный патокой торт, с темным и хрустящим верхом, сочный и зернистый изнутри, когда в него погружалась ложка. Епископ намазал свою порцию ровным слоем крема и деликатно облизнул палец.

— Не стоит преувеличивать, — сказал он.

Маркус мрачно смотрел на торт. Вообще-то это его любимое блюдо. Но сегодня у него не было аппетита.

После посещения Карела он пребывал в крайне расстроенном состоянии. Он представлял себе, что его смелость непроизвольно принесет ему освобождение или немедленное успокоение и воображал с какой-то наивностью, взятой из детства, что Карел поможет ему обрести уверенность. Но из этой встречи во тьме выросла еще более пугающая и еще более непонятная тревога. Из-за отсутствия света в ней крылась какая-то многозначительность. Теперь желание просто увидеть лицо Карела преследовало его как навязчивая идея и смешалось со страхом найти брата изуродованным или чудовищно изменившим-

ся. Карел и Элизабет преследовали его во сне, огромные смутные образы, чьи поступки он не мог потом припомнить. До сих пор он по крайней мере мог думать о них раздельно. Теперь, не понимая почему, он думал о них только вместе, и выявленная им связь производила эффект вечного двигателя. Маркус не мог постигнуть принцип действия этого механизма, так резко дергавшего его взад и вперед, но чувствовал, что это как-то связано с замечанием Карела, что Элизабет «живет в своем мире».

Маркус не знал, что имел в виду Карел, но он не мог поверить и даже на минуту предположить, что она не в здравом уме. Впоследствии ему пришла в голову смутная и тревожная мысль, всплывшая как огромный отталкивающий объект из водных глубин, что у Карела не все в порядке с головой. Никогда раньше ни на секунду Маркус не принимал в расчет мысль, что его брат безумен, хотя постоянно это слышал от Норы. Но если исключить безумие, тогда это могло быть только одним…

Такие раздумья были совершенно новыми, и он сам изумился, как далеко зашел или как глубоко оскорблен минувшей встречей с Карелом. И все же он чувствовал, что смог бы противостоять

любой вероятности, любому предположению возможного безумия или даже тому, что еще хуже, если бы это касалось одного Карела. Но присутствие Элизабет осложняло ситуацию, делая ее мучительно сомнительной, и создавало горестный механизм, лишавший Маркуса покоя. Он отчаянно хотел увидеть Элизабет. Ее образ пылал в его мозгу, как стальной ослепительный обелиск чистоты и невинности. Не то чтобы он осознанно полагал, что она в опасности. То, что он чувствовал, очень походило на какую-то чудовищную ревность.

Он сожалел, что рассказал о случившемся Норе, хотя упомянул только сам факт разговора, даже не пытаясь воспроизвести атмосферу, и по какой-то причине не смог заставить себя пояснить, что все это произошло в темноте. Но даже и этого не следовало говорить. Он обязан был скрыть все, полагая, что всякая эмоциональная работа должна происходить внутри него втайне. На эту тему Нора могла произносить только богохульства. И произносила их ликующе, понимая все упрощенно, откровенно торжествуя, когда удавалось выведать что-то новое, и окончательно убеждалась в очевидности своей правоты.

— Думаю, я не преувеличиваю, епископ, — го-

ворила Нора.

У епископа были маленькие руки и ноги и чистое мальчишеское лицо. Маркуса раздражало, что Нора называет его «епископ». Он стал называть его «сэр», а затем с раздражением обнаружил, что епископ, возможно, моложе его. Маркус был в таком возрасте, когда человека еще шокирует, если более молодой занимает высокое положение.

— Насколько я понимаю, — продолжала Нора, — дело в ответственности перед обществом, не говоря уже о самой церкви. Очень опасно, когда неуравновешенный человек обладает такой властью. Все может произойти. Должен существовать какой-то церковный аппарат, чтобы по крайней мере расследовать подобные случаи.

— Ну, разве в наше время кто-нибудь может сказать, кто безумен, а кто в своем уме? Пусть тот, у кого нет невроза, бросит первый камень! Какой удивительно вкусный торт. Я знаю немного людей, способных в наши дни взять на себя труд готовить сладости.

— Вы спрашиваете, кто может сказать, — продолжала Нора. Она начинала сердиться на епископа. — Отвечаю, что я готова сказать. Терпимость может зайти слишком далеко, и, с моей

точки зрения, в наши дни часто заходит. Нужно называть вещи своими именами. Сейчас нам противостоит человек одновременно и безумный, и безнравственный.

— Как он может быть и тем и другим одновременно? — возразил Маркус. Он до сих пор еще не вступал в разговор.

— Я бы, безусловно, назвал Карела эксцентричным, — сказал епископ. — Английская церковь известна своими особенностями. В восемнадцатом веке…

— Мы, слава Богу, живем не в восемнадцатом веке, — перебила Нора.

Маркуса расстроило, что епископ называет его брата Карелом, хотя они встречались только раза два.

— Не следует слишком беспокоиться, мисс Шэдокс-Браун. Как говорит сочинитель псалмов, «поистине каждый человек в лучшем положении тщеславен иным способом». Но в конце концов все образуется! Нет, спасибо, больше не надо торта, я и так с удовольствием съел большой кусок. Мне бы хотелось немного этого вкусного рассыпчатого сыра.

— А я считаю, что-то нужно сделать, — заметила Нора. Она проворно наклонила дощечку для сыра

к тарелке епископа. — Естественно, мы сочли, что прежде всего нам следует посоветоваться с вами. Но Маркусу придется предпринять кое-какие шаги в отношении Элизабет. В конце концов, он ее опекун, и он должен добиться позволения видеть ее. Я намерена получить консультацию у юриста.

— Думаю, нам не следует слишком торопиться, — сказал Маркус. Его раздражал, огорчал и почти пугал напористый вид Норы, юристов, даже полиции, вмешивающихся в нечто такое личное, какими стали теперь его отношения с Карелом и Элизабет. Он жалел, что не отговорил Нору в самом начале.

— Я согласен с Маркусом, — сказал епископ. — Легко поднять необдуманную суету. Но не так легко будет потом соединить обрывки. Вы не возражаете, если я налью себе еще немного этого великолепного кларета?..

«Итак, я уже Маркус, не так ли?» — подумал Маркус. Ну и проныра же епископ, удивительная профессиональная легкость!

— Моя точка зрения, что суета не будет необдуманной, — сказала Нора. — И я удивлена, что вас не интересуют слова Карела о том, что он потерял свою веру.

Это уже было дословно пересказано.

— Вера — такое личное дело, особенно в наши дни, — туманно заметил епископ.

— Может, он меня дурачил, — предположил Маркус.

— Ты прекрасно знаешь, что нет, — возразила Нора. — Он отъявленный циник. Священник, спокойно объявляющий, что он не верит в Бога!

— Что ж, если мне позволят сказать и не сочтут меня фривольным, все зависит от тона, которым это было сказано! Насколько мне известно, вы пишете книгу на эту тему, Маркус?

— Не совсем так, сэр, — сказал Маркус. Он ощущал себя школьником, которого расспрашивали и с раздражением отмечали его условные реакции. — Я пишу не о Боге, а о морали. Хотя я собираюсь посвятить одну главу онтологическим аргументам.

— Превосходно, превосходно. Единственный обоснованный довод в богословии, с моей скромной точки зрения, только не цитируйте меня! Я так рад. Нам нужна любая помощь.

— Но я не христианин, — сказал Маркус.

— Ну, знаете ли, разделяющие границы теперь не такие четкие, как раньше. Страсть, говорит Кьеркегор, не так ли? Страсть. Вот что необхо-

димо. Мы должны помнить, что Святой Дух там веет, где его слышат. Не в шторме, а в безветрии таится безбожие. «Где проклятая лошадь?» Надеюсь, вы следите за ходом моей мысли?

— Но все же есть разница между верой в Бога и неверием, — возразила Нора.

— О, конечно. Но, возможно, эта разница совсем не такая, как мы думали когда-то. Мы должны рассматривать это время как междуцарствие.

— Во что бы ни верил Карел, он, несомненно, верит в это со страстью, — заявил Маркус.

— Точно. Я сам предполагаю, что ваш брат глубоко религиозный человек, — сказал епископ.

— О, ерунда! — возразила Нора.

— Но во что он верит? — спросил Маркус. — Это все еще имеет значение, не так ли?

— И да, и нет, — сказал епископ. Он соскребал сыр со своего кольца изящным ногтем.

— Как насчет Иисуса Христа? — задала вопрос Нора. Епископ слегка нахмурился:

— Как я уже сказал, мы должны рассматривать этот период как междуцарствие. Это время, когда, если можно так выразиться, человечество становится взрослым. Особая историческая природа христианства ставит интеллектуальные проблемы, которые одновременно являются и

духовными проблемами. Многое в символике теологии, что способствовало пониманию в ранние и более простые времена, стало в век науки преградой вере и порой, наоборот, вводило в заблуждение. Наша символика должна измениться. В конечном итоге здесь нет ничего нового, это необходимость, которую церковь всегда понимала. Бог живет и творит в истории. Внешняя мифология меняется, а внутренняя правда остается неизменной.

— Вы не ответили на мой вопрос, — сказала Нора, — но неважно. Если вы намерены сбросить со счетов Иисуса, вам следует сказать об этом определенно. Религия — миф.

— Ни один мистик так не думал, — сказал епископ, — а кому мы можем больше верить? «Смиренная тьма, будь твоим зеркалом». Те, кто ближе всех подошел к Богу, говорили о тьме, даже о пустоте. Символика изменилась. Здесь есть глубокая правда. Послушание Богу должно быть безусловным послушанием, в известном смысле даром.

— Я бы сказала, что он не существует, и хватит об этом, — произнесла Нора. — Но неужели считается, что мы все должны стать мистиками?

— Настало время суда, — сказал епископ. —

«Много званых, но мало избранных». Церкви придется претерпеть болезненные преобразования. И прежде чем произойдет улучшение, все станет еще хуже. Нам очень понадобится наша вера. Но Христос снова осуществит пленение Сиона.

— Вполне может так быть, — сказала Нора, — но я считаю, что в этот век науки нужно больше слышать о морали и меньше о Христе.

Епископ улыбнулся.

— Я, конечно, не говорю о личности, — сказал он. — Без личности можно обойтись. В действительности даже должны обойтись. То, что нам предстоит пережить, — не разрушение, а очищение веры. У человеческого духа есть определенные глубокие потребности. Не поймите меня превратно, когда я говорю, что мораль — это еще не все. Ошибка просвещения была в том, что Бог представлялся гарантом порядка в области морали. Но наша необходимость в Боге — нечто превышающее мораль. Малейшее знакомство с современной психологией показывает нам, что это не лозунг, а факт. Мы теперь менее наивны, чем прежде, в вопросах добродетели. Мы менее наивны в вопросах святости. Человека как духовное существо определяет не его

условная добродетель или безнравственность, а истинность его потребности в Боге! То, что Иегова ответил Иову на вопрос «Где ты был, когда я закладывал основы земли?» — не довод, когда речь идет о вопросах морали.

— Ну, я всегда считала это очень неубедительным доводом, — заметила Нора. — Добродетель — хорошее руководство, и все мы знаем, что это такое. Я думаю, вы, люди, играете с огнем. Кофе?

Такой поворот разговора расстроил Маркуса. Ему не понравилось, что епископ говорит о вере таким образом, его это почти шокировало. Ему только сейчас пришло в голову, как важно для него, чтобы все продолжалось по-старому. Он не верил в искупительную кровь Иисуса, не верил в Отца, Сына и Святого Духа, но хотел, чтобы другие люди верили. Он хотел, чтобы старая структура оставалась около него поблизости, так, чтобы он мог время от времени протянуть руку и прикоснуться. Но теперь казалось, что за кулисами все это было демонтировано: для того, чтобы они решили, что Бог не личность, для того, чтобы можно было спокойно принизить образ Иисуса Христа; это заставило его ощутить почти что страх.

Нора что-то говорила, предлагая ему чашку кофе. Где-то вдалеке в тумане гудела сирена. Вне-

запно показалось, что теплая, ярко освещенная, хорошо занавешенная комната закружилась. Маркус ухватился за стол.

— Но предположим, — сказал он епископу, — предположим, что правда о человеческой жизни была бы так страшна и так ужасна, что человек был бы уничтожен одними размышлениями над ней? Вы отобрали все гарантии.

Епископ засмеялся:

— Вот когда оказывается полезной вера.

— Предполагать бессмысленно, — сказала Нора. — Возьми свой кофе.

Глава 10

Мюриель закончила читать, отбросила последний лист и посмотрела на Элизабет. Она прочла вслух строф двадцать и поняла, что чрезвычайно растрогана своей поэмой. К концу чтения ее голос дрожал от волнения.

Они сидели на полу по обеим сторонам камина в комнате Элизабет. Шезлонг, к которому прислонилась Элизабет, был повернут к камину, образуя уютный уголок. Мюриель, сидевшая прислонившись к китайской ширме, выключила стоявшую рядом лампу. Пылающий огонь хорошо освещал комнату, бросая легкие вспышки золотистого света на лицо Элизабет и заставляя мимолетные тени пробегать по потолку. Занавески были задернуты несмотря на полдень.

Воцарилось молчание. Затем Элизабет сказала:

— Довольно туманно, не правда ли?

— Мне так не кажется. Она и в половину не такая туманная, как большинство современных произведений.

— У тебя есть план целой вещи?

— Нет, я же тебе говорила. Она еще только

формируется.

— Было бы неплохо знать, что последует дальше.

— Пожалуй, нет.

— Интересно, не влюблена ли ты в кого-нибудь?

— Не влюблена. Я тебе это тоже уже говорила. — Мюриель отчаянно хотелось, чтобы Элизабет хорошо отозвалась о поэме. Это было все, что она желала услышать. Но Элизабет с тупым полуосознанным упрямством, которое Мюриель ощущала и почти что видела, как физическое излучение, собиралась сказать о поэме все, что угодно, только не похвалить.

— О, все это не имеет значения! — сказала Мюриель. Она резко встала, небрежно собрала разбросанные листы и бросила их на шезлонг. Затем добавила: — Извини, Элизабет.

Элизабет, казалось, ничего не заметила. Она пристально смотрела на огонь, и глаза ее стали огромными от каких-то тайных раздумий. Она беспокойно передвигалась, выгибая тело, поглаживая ноги. Глубокий вздох перешел в зевок. Затем она тихо протянула:

— Да-а-а.

Мюриель смотрела на нее с раздражением.

Она терпеть не могла такие моменты, когда Элизабет «отключалась». Ей казалось, что теперь это стало случаться чаще. Равнодушная холодность и отсутствующее выражение, как облако, проплывало по лицу кузины. Ее конечности подергивались, глаза не могли сфокусироваться, и ее воля проявлялась только как решимость животного уклониться от контакта с окружающими. Между тем это не замутнило ее красоты, которая мерцала неярким холодным светом, как восковое изображение. Такая неестественная мертвенность Элизабет зачаровывала.

Мюриель хотелось знать, хороша ли поэма. Может ли человек оценить свое собственное произведение? Она прекрасно понимала, что для художника очень часто золотистое зарево идеального замысла затмевает реально достигнутое, так что трудно рассмотреть очертания того, что уже сделано, среди мерцающих отблесков своих намерений. Иногда ей нравилась своя работа, и она чувствовала, что находится на верном пути, обрела технику и знает, как ее оттачивать. Она перестала быть просто писакой, зависящей от случайного вдохновения. Она научилась работать упорно, часами, как плотник или сапожник. Она теперь могла свободно варьировать наибо-

лее удачные выражения, не испытывая страха испортить их. Она даже научилась заставлять себя вызывать те темные сферы, из которых образы выплывали, как сверхъестественные бумажные змеи. Но временами и, казалось бы, без всякой на то причины все это обращалось в прах и пепел. Она обладала способностью слагать стихи, но в ней не было ничего прочного, на что можно было бы опереться, чтобы поднять себя до высот истинной поэзии, работай она хоть до дня Страшного Суда. Все это кончится ничем.

За день до этого Мюриель сначала позабавили, а затем рассердили настойчивые предположения Элизабет, что Мюриель, должно быть, влюблена. По правде говоря, Элизабет периодически заводила разговоры об этом, истолковывая как симптомы некоторую задумчивость или мимолетную эйфорию своей кузины. Мюриель всегда трогали такие случаи: она понимала — так много говорится об этом из страха, что такое может случиться. Мюриель давала заверения, которые от нее хотели услышать, и разговор прекращался. Но в этот раз было особенно трудно убедить Элизабет. «В кого, в конце концов, я могла бы влюбиться?» — спрашивала Мюриель. Элизабет смотрела загадочно, а позже прервала чтение

поэмы, чтобы указать — стихи Мюриель служат тому доказательством.

Мюриель много размышляла о своей странной встрече с Лео Пешковым. После той сцены у реки она редко видела его, предполагая, что его нет дома, да и не искала его общества. Происшествие это позабавило ее, даже взволновало своей грубоватой эксцентричностью, налетом чудачества, которых ей так недоставало в жизни, но к самому юноше она относилась прохладно. Ее отталкивала его молодость, развязность и подчеркнутый цинизм. Мюриель было присуще природное благородство, которое не терпело фамильярности, а требовало сдержанности и утонченности. К тому же было очевидно, что, общаясь с человеком младше себя, ей придется управлять им. Не могла она простить Лео и то, что он удивил ее, хотя и посмеялась этому. Она приготовилась к тому, что Лео будет развлекать ее, а она станет восхищаться его красотой, как восхищалась бы прекрасным животным или произведением искусства. Но в целом она сочла его слишком юным, и в нем не было ничего, что затронуло бы ее сердце.

Когда Элизабет начала свою очередную кампанию «ты влюблена», образ, который внезапно возник перед Мюриель, на минуту напугал ее

— это был Юджин Пешков. Конечно же, Мюриель не была влюблена, и меньше всего — в потерпевшего крушение привратника, годившегося по возрасту ей в отцы, с которым и поговорила-то всего несколько раз. И тем не менее какое-то тепло, источником которого стал Юджин, наполнило для нее дом. Его простодушие и абсолютная бесхитростность привлекали ее. Казалось, он олицетворял собой тот мир бездумных привязанностей, свободного счастливого смеха, собак, пробегающих по улице, от которого она чувствовала себя совершенно отделенной. Иногда она безнадежно думала, что это поэзия обрекла ее на такое одиночество. Но каков бы ни был барьер, Юджин находился по другую сторону — символ того, к чему Мюриель стремилась, но что натура запрещала ей иметь. Ей нравилось в нем все: его свисающие усы, старомодная вежливость, необычный способ кланяться ей, его большое доброе лицо и грязные вельветовые брюки. Он был совершенно безобидным и дружелюбным созданием, как русский дух дома или Домовой, изображение которого она однажды видела в книге по мифологии. Мюриель тронула его история, она от всего сердца сочувствовала ему, и особенно огорчила ее недавняя кража его драго-

ценной иконы. Ей хотелось прикоснуться к нему, как-нибудь утешить. Но конечно, это не означало, что она влюблена, просто перспектива узнать его поближе казалась приятной. Один или два раза, разыскивая его в его комнате, Мюриель обнаружила там Пэтти, и это ужасно рассердило ее.

За головой дремлющей Элизабет, поблескивая как шпиль из позолоченного алюминия, стояла ваза с хризантемами, которые прислал Элизабет дядя Маркус. Девушки уже сочинили множество благодарственных записок, одна умнее другой, но ни одной еще не отослали. Элизабет особенно не любила хризантемы. Мюриель полагала, что рано или поздно им придется увидеть дядю Маркуса. Элизабет это было безразлично. Мюриель не говорила с отцом ни об этом, ни о чем-либо другом уже несколько дней. Она знала, что он никого не принимает. Посетителей, и решительных, и даже отчаявшихся, включая вечно причитающую миссис Барлоу, — всех отсылали. На письма не отвечали и даже не читали. Мюриель немного беспокоилась, но она видела отца в подобном настроении и раньше. Ей самой вскоре придется решить, как себя вести в отношении дяди Маркуса и Шэдокс. Конечно, и речи не было о том, чтобы они навестили Элизабет без позволения Карела.

Мюриель же придется повидаться с ними, может, даже умиротворять их. Но она не станет торопиться. Она всегда чуть нервничала при мысли о встрече с Шэдокс. Мюриель не любила и даже немного побаивалась ее ужасного здравого смысла. Всегда существовала слабая, но постоянная вероятность, что Шэдокс окажется права.

Мюриель, стоя и глядя на зачарованную головку, слегка прислонилась к стене там, где она переходила в нишу, в которой стояла кровать. Ее рука, ощупывая стену, коснулась места, где соединялись две перегородки, и почувствовала щель в обоях — то место, откуда можно заглянуть из бельевой в комнату Элизабет и дальше, в темную подводную пещеру французского зеркала. Мюриель виновато убрала руку. Она тотчас же подумала о корсете Элизабет и на секунду, казалось, увидела его, как будто ее кузину просветили рентгеновскими лучами — полую, как каркас, покрытую сталью, с металлической головой. Видение странно взволновало ее. Но в следующее мгновение она отмела его и стала думать о болезни Элизабет. Теперь в ее мыслях было так много фатализма. Верила ли она действительно, что Элизабет когда-нибудь поправится и сможет вести нормальную жизнь?

Они все так привыкли прятать Элизабет, хранить ее, как какое-то тайное сокровище. Было ли в этом что-то странное, неестественное? Мюриель пришло в голову, что в целом этот режим казался простым и заурядным из-за отношения к нему самой Элизабет, ее поддержки, даже некоторой иронии к себе. При другом повороте это могло показаться тюремным заключением. И все же не произошли ли незаметно в последнее время какие-то перемены? Возможно, Элизабет, повзрослев, стала лучше осознавать свое бедственное положение и ту ужасную отдаленность от жизни, в которой она находилась. Может быть, она теперь трезво оценила, что никогда не излечится, никогда не будет здоровой и свободной. Это могло стать причиной возросшей апатии и холодности, что огорчало Мюриель и заставляло ее сейчас испытывать своего рода клаустрофобию, будто она где-то заперта вместе со своей кузиной. Элизабет так долго играла роль веселого ребенка, словно являясь источником света в их доме. Но теперь Мюриель, глядя на дремлющее, погруженное в оцепенение лицо, ужаснулась, увидев нечто совершенно иное, нечто внушаю-

щее страх. La Belle Dame sans Merci[11].

Конечно, все это глупости. Ее воображение становится болезненным. Нескончаемый туман делал их всех немного нервными. И все же это правда, что Элизабет вела абсолютно изолированный образ жизни. Ей следует больше видеть людей, знакомиться с молодыми мужчинами. Нельзя держать ее взаперти, доведя до такого состояния, когда общение станет очень трудным. Не следует ли нам убежать, пока не стало слишком поздно? Мюриель сама удивилась, как сильно она пристрастилась к этой мысли. Откуда же они должны были вырваться? Чего она здесь так боялась, что заставляло ее смутно мечтать о бегстве, о спасении, о потрясении, которое сможет разрушить барьеры и осветить внезапным светом перемен то, что кажется темным и непонятным?

Мюриель встряхнулась и стала подбирать с пола разбросанные бумаги. Потом тихо позвала Элизабет.

— Дорогая.

— М-м-м?

— Я должна пойти за покупками, иначе нам

---

[11] Примечания: 11
Прекрасная беспощадная дама (фр.).

опять придется есть яйца. Я приду примерно через час, на случай, если ты надумаешь позвонить.

— М-м-м.

— Я заберу тарелки. Извини, они остались здесь.

— А я и не заметила.

— Купить тебе что-нибудь особенное?

— Нет, спасибо, дорогая.

— Я принесу тебе маленький подарок.

— Ты такая милая.

— Огонь не погаснет до моего возвращения. Не пытайся поднимать это ведерко с углем.

— Интересно, идет ли еще снег?

— Думаю, прекратился.

— Мне бы хотелось, чтобы снег как следует прошел. Он бы разогнал туман. Мне ни разу не удалось выглянуть из окна с тех пор, как мы приехали.

— Знаю, дорогая. Скоро ты сумеешь. Может, тебе стоит написать дяде Маркусу?

— Возможно. Брось мне сигары, будь добра.

— Что ты будешь делать в мое отсутствие?

— Составлять головоломку… Ничего. Скорей всего, ничего.

— Я быстро, не кури слишком много.

Когда Мюриель направилась к двери, глаза снова закрылись. Она тихо вышла. Помедлила около бельевой. Как выглядела Элизабет, когда оставалась одна? На секунду Мюриель мысленно представила себе какую-то удивительную перемену, которая могла произойти с ее кузиной, как только за ней закрылась дверь, какое-то превращение пассивности в активность, спокойствия в отчаяние. А что, если прокрасться в бельевую и заглянуть в щель? Она заставила себя поскорее уйти. Следить — подлость, она не могла так унизиться. Но дело не только в этом. Ей было страшно посмотреть.

Мюриель бросила оставшиеся после ленча тарелки наверху в буфетной, затем пошла в свою комнату, где было очень холодно, и надела пальто. Заперла за собой дверь на замок — предосторожность, предпринимаемая ею после недавней кражи, хотя единственные вещи, которыми она дорожила, были ее стихи и бутылочка со снотворным, их, по ее мнению, никто бы не захотел украсть. Она спустилась по лестнице под мелодию увертюры «1812 год». Тихо закрывшаяся дверь отрезала их друг от друга. Образ Элизабет померк. Мюриель решила, что зайдет и спросит Юджина Пешкова, не нужно ли ему что-нибудь

купить в магазине. Она уже несколько раз спрашивала его об этом. Он всегда отказывался, но это служило предлогом, чтобы увидеть его; Мюриель сожалела, что с момента страшной потери иконы у нее не было возможности как следует поговорить с ним и выразить свое сочувствие. А к тому же ей хотелось немедленно удостовериться в присутствии Юджина в доме.

Чтобы попасть в пристройку с котельной, следовало пройти за кухню по коридору без окон, где день и ночь горел электрический свет. Запах угля и ладана наполнял этот туннель. Мюриель прошла через него и остановилась у двери Юджина. Тотчас же, испытав внезапную резкую боль, она услыхала голос Пэтти, доносившийся из комнаты.

— Ищешь меня?

— Нет, — Мюриель не обернулась. Она сделала вид, будто что-то ищет в своей сумочке.

— Могла бы и поискать, — сказал Лео. — Я думал — искала. Не зайдешь ли в мою гостиную? Я, как Марианна на обнесенной рвом мызе, ожидал твоего прихода.

Лео медленно приблизился к Мюриель и, легко коснувшись ее плеча, отошел, открыл дальнюю дверь и приглашающе остановился на пороге.

Мюриель, поколебавшись, вошла в комнату. Она все еще ощущала прикосновение Лео на своем плече.

— Почему ты хмуришься?

— Я не хмурюсь, — возразила она.

Комната, в которой было очень тепло, напоминала высокий ящик со стенами из коричневой обсыпающейся штукатурки, и это делало ее похожей на площадку, высеченную в песчаной почве. Незашторенное окно над головой было темным. Свешивающаяся с потолка лампа под кремовым плафоном разливала жемчужный свет. Китайская камышовая циновка лежала на полу. Низкий узкий диван-кровать был покрыт индийским набивным покрывалом. Три деревянных табурета стояли в ряд у стены. В одном углу аккуратная стопка книг достигала подоконника. Простой дубовый сундук с вышитой подушкой на нем стоял за дверью. Две японские гравюры с изображением скачущих галопом лошадей висели на стене над кроватью. В комнате больше ничего не было, кроме шахматной доски на полу. Не было и стола.

Комната немного удивила Мюриель.

— А ты аккуратный.

— Я тренируюсь, чтобы изменить свой пол.

— А где ты работаешь?

— Что делаю?

— Вижу, ты играешь в шахматы.

— Мне приходится притворяться по профессиональным соображениям. А ты?

— Играю, но не очень хорошо.

На самом деле Мюриель играла неплохо, но ей так и не удалось научить Элизабет. Она тотчас же решила, что никогда не станет играть с Лео. Он мог выиграть.

— Мы должны сыграть. Не присядешь? Здесь сидят на полу. Табуреты стоят чисто символически. — Лео сел, скрестив ноги, и прислонился спиной к кровати.

Мюриель снова заколебалась. Хотелось бы ей знать, ушла ли Пэтти от Юджина.

— Скажи мне хоть раз правду, Лео. Был ли у твоего отца титул в России?

— Титул? Боже мой, конечно, нет. Я и представить не мог, что ты принадлежишь к тем людям, кто считает, что все русские эмигранты имеют титулы.

— Жаль, — сказала Мюриель. — Он обладает таким благородством, что вполне мог быть принцем.

— А как насчет меня? Я тоже мог быть прин-

цем?

— Ты?

— Ладно. Я демократ. Материалист. Ученый. Человек после атомной эпохи.

— Я вижу, все твои книги — научная фантастика. А серьезных книг у тебя нет?

— Заложены… Садись, серьезная девушка. Или ты боишься?

Мюриель села, прислонившись к стене, подогнув под себя ноги, и пристально посмотрела на Лео, ответившего ей столь же пристальным взглядом. На нем были джинсы и ирландский свитер с высоким воротом. Он выглядел скромным и опрятным, как и его комната. Мюриель изучала его лицо. У него был короткий немного веснушчатый нос, довольно полные губы и необычайно ясные серые глаза. Золотистые с красноватым оттенком волосы, густые, но коротко подстриженные, блестели, как здоровый мех.

— Ты красивый, — сказала Мюриель.

— Ты меня наградишь за это?

— Зачем тебя награждать. Ты, кажется, живешь в мире наград и наказаний.

— Ты мне кое-что должна.

— Почему?

— Потому что ты отказываешь мне в себе.

— Так как ты не предъявлял на меня прав, я ничего тебе не должна.

— Тогда награди меня просто за красоту. У меня так мало удовольствий.

— Мне нечего тебе дать.

— Одинокая девушка обладает несметными дарами. Роза, тайно брошенная из окна, надушенный платок, будто случайно оброненный. Ах, вот были дни.

Мюриель снова вспомнила любопытное обстоятельство, что Лео все еще не знает о существовании Элизабет.

— Что же ты хочешь получить?

— Ну, я скромный парень. Прежде всего девственницу, но если у тебя нет таковой под рукой, я соглашусь на одну из твоих туфель, но не «разумных», если возможно. Разве ты не знала, что я фетишист?

Странная мысль пришла Мюриель в голову. Что, если познакомить это красивое животное с Элизабет? Идея, даже только промелькнувшая, показалась удивительно заманчивой. Элизабет спала, была зачарована. Почему бы не разбудить ее, применив шок, такого рода шок?

В следующий момент Мюриель говорила себе, что это невозможно, глупо, опасно. Карел никогда

не согласится, чтобы Элизабет встречалась с Лео. Лео был слишком реальным, слишком диссонирующе настоящим. Карел допускал к Элизабет с визитами только тусклых и невыразительных молодых людей, а в своем теперешнем настроении он, похоже, вообще не одобрит никаких посетителей. Кроме того, сможет ли Элизабет вынести такое потрясение и не потеряет ли равновесия? Она так привыкла к обычному порядку, к обряду безмолвных медленных движений и тихих голосов.

Но не в этом ли беда? В замкнутом пространстве она кружится, словно в замедленном танце, постепенно погружаясь в сон. Вот что сделало ее такой вялой, а Мюриель заставило в последнее время ощутить, что она задыхается, что сама она пленница. Она слишком долго сдерживала свое дыхание ради Элизабет. Настало время для чего-то шумного и неожиданного, непредсказуемого и совершенно нового. Лео был шумным, неожиданным, непредсказуемым и новым. Воображение Мюриель поместило их рядом. И этот образ доставил ей удовольствие.

— Свежий воздух, — сказала Мюриель.

— Что?

— Извини, я просто подумала вслух.

Очень ли рассердится ее отец? А если и рассердится — имеет ли это такое уж большое значение? Не настала ли пора для каких-либо изменений в доме, необдуманных и несанкционированных во тьме туманной души Карела? Ей казалось, что сейчас все они — только тени его мыслей. Элизабет с тех пор, как выросла, не видела ни одного приличного молодого человека. «О, прекрасный новый мир!»

Конечно, это потрясет Элизабет, и, может, она вознегодует. Но почему не встряхнуть и не пробудить ее от этого зловещего сна? Потрясение, шок пойдут им всем на пользу. Это будет нечто воодушевляющее, волнующее. Используя Лео как свое необычное оружие, Мюриель пойдет в атаку. Почему все это сейчас казалось похожим на приятные военные действия? Что ж, она поведет войну против своей кузины. И здесь легкомыслие Лео превратит его в идеальный инструмент. Он поведет дальнейшую игру, не создавая осложнений и беспорядка. Ничего опасного не может произойти. С помощью Лео она даст возможность Элизабет приобрести опыт, да и сама наберется его.

— Ты говоришь, что бросил свою девушку?

— Совсем. И выставил себя на продажу.

— Предположим, я бы рассказала тебе, — медленно начала Мюриель, — о прекрасной и одинокой девственнице, укрытой в глубине темного дома?

— Я бы ответил, что ты меня дурачишь.

— Ты не знаешь о моей кузине Элизабет?

— О ком?

— Я не единственная девушка в доме. Здесь есть еще одна — моложе и красивее. Моя кузина.

— Ты хочешь сказать — прямо здесь, в этих стенах, сейчас?

— Да.

Лео встал. Он выглядел пораженным, почти напуганным.

— Другая девушка. На самом деле?

— На самом деле, Лео.

— Это шутка.

— Нет, не шутка.

— Но почему я не видел ее?

— Она немного больна. Ничего серьезного — некоторые проблемы со спиной. Она пока не выходит из комнаты.

Корсет. Должна ли она рассказать Лео о корсете? Эта мысль взволновала ее.

— Но почему ее прячут? Почему ее скрывают?

— Ее не скрывают. Чистая случайность, что ты

не знал о ней.

— Странный колокольчик, что я иногда слышу, — это ее?

— Да.

— Девушка с колокольчиком. Сколько ей лет?

— Девятнадцать.

— И она действительно красива?

— Очень красива.

— И девственница?

— Да. Она практически вообще не была знакома с мужчинами.

— Она знает обо мне?

— Да. — Это была полуправда.

К Лео вернулось обычное выражение лица.

— Отведи меня к ней!

— Не так быстро, — возразила Мюриель. — Сначала ты должен дать мне определенные заверения.

— Я дам любую клятву.

— Прежде всего ты должен пообещать, что будешь полностью мне повиноваться. Элизабет вела очень уединенную жизнь. С ней нужно обращаться чрезвычайно мягко и церемонно.

— Что значит церемонно? Значит, я даже не смогу поцеловать ее?

— Мы с ней решим это. Ты увидишь, она очень

отличается от маленьких дурочек в твоем колледже.

— Ты же не собираешься находиться там все время?

Мюриель еще не думала об этом. Но сейчас мысль о том, чтобы все время там присутствовать, показалась ей довольно приятной. Конечно, ничего в действительности не произойдет.

— Нет, конечно нет. Если ты будешь хорошо себя вести.

— Надеюсь, мне не придется вести себя слишком хорошо.

— Но ты обещаешь слушаться меня?

— Да, идет, обещаю.

— Хорошо. Теперь второе. У тебя не должно быть других связей или каких-либо осложнений. Элизабет достойна твоего полного внимания, иначе ничего не будет. Как насчет того дела, для которого ты просил у меня деньги? Между прочим, это правда?

— О, это. Там все закончено. Я все уладил. Небольшое дело сделано. Девушка свободна. У нее уже другой парень.

— Где ты достал деньги? — спросила Мюриель.

Лео пристально посмотрел на нее, затем сделал гримасу и резко отвернулся. Он отошел в угол

комнаты и прижался лбом к стене.

— Продолжай, Лео.

— Я должен сознаться?

— Да, признавайся. Меня трудно шокировать.

— Ты сохранишь это в тайне?

— Может быть.

— Ну, ты знаешь эту старую религиозную картину, которую так любил мой папаша? Я ее взял и продал.

— О Боже! — воскликнула Мюриель. Она встала на колени, затем поднялась.

— Дурно, да?

— Как ты мог поступить так отвратительно? — Лео повернул голову:

— Я думал, тебя ничто не шокирует. Во всяком случае, ты сама предложила, чтобы я что-нибудь украл.

— Я не это имела в виду. И украсть у собственного отца, отнять то, что он так любит…

— Римская католическая церковь утверждает, что дети не могут украсть у своих родителей. Таковы общие понятия.

— Ты прекрасно знаешь, что это воровство.

— Что ж, отцы для того и существуют, чтобы у них можно было воровать. В прошлый раз я все объяснил тебе об отцах.

— Он знает, что это ты взял ее?

— Нет, разумеется нет. Какой смысл говорить ему. Он только разворчался бы.

— Я считаю, это самое гадкое и подлое дело, о котором я когда-либо слышала.

— Мне казалось, ты выше всех этих старых условностей. Не очень-то трезво ты мыслишь, моя дорогая.

— Не говори вздор. Сколько ты получил за нее?

— Как раз столько, сколько мне было нужно. Семьдесят пять фунтов.

— И тебе так мало дали? Она, наверное, стоит намного больше?

— Я уже говорил тебе, я скромный парень.

— Ее нужно вернуть, — сказала Мюриель. — Ты должен сделать это, если даже тебе придется снова украсть ее.

Лео вышел из угла и сел на кровать.

— Ты просто сбиваешь меня с толку.

— Ты продал ее в магазин?

— Да, в классный антикварный магазин в Шеперт Маркет.

— Надеюсь, они еще не продали ее. Ты должен вернуть ее, Лео. Как ты мог!

— Очень просто, старушка. Я же говорил тебе, что должен совершить великий освобождающий

поступок. Вот он. Долой отцов!

— Ты же так не думаешь. Ты знаешь, что поступил подло. Не можешь же ты так запросто отказаться от морали.

— Не могу, Мюриель? Ты когда-нибудь слышала о квазарах?

— О чем?

— О квазарах. Это разновидность звезд. Но неважно. Просто брось взгляд на вселенную, а потом поговори со мной о морали. Допустим, нами всеми откуда-то управляют на расстоянии. Предположим, мы всего лишь лягушечья икра в чьем-то пруду.

— А если предположить, что нет? На самом деле ты не веришь во всю эту ерунду. Тебе стыдно. Должно быть стыдно.

Лео смотрел на Мюриель с непроницаемым выражением лица.

— Я должен приготовиться сыграть стыд? Этого будет достаточно?

— Ты должен пойти к отцу и рассказать ему.

— Сыграть роль блудного сына?

— Ты должен сказать, что сожалеешь. Ты должен сожалеть. И тебе необходимо каким-то образом вернуть икону. Верни ее.

— У меня есть другие дела. Я сейчас же пойду

знакомиться с твоей кузиной-девственницей.

— Нет, ты не пойдешь.

— Ты обещала!

— Нет. Это была очень плохая идея. О Боже, я в полном замешательстве.

Мюриель прижала руки к лицу, как будто ожидая найти слезы, которые внезапно ощутила в своем голосе.

— Послушай, пожалуйста, если я признаюсь отцу и принесу назад эту проклятую икону, ты позволишь мне заполучить твою кузину?

— Ну, если ты все это сделаешь, я, может, позволю тебе познакомиться с ней. В противном случае — нет. И это точно.

— Поиск! Поиск! Он продолжается. Я рискну. Я даже рискну положиться на твою оценку ее красоты.

— Лео, Лео. Я совершенно не понимаю тебя. Как ты мог намеренно так обидеть отца?

— Квазары, Мюриель, квазары, квазары!

Глава 11

— Ну, я должна идти, — сказала Пэтти, — и так просидела здесь целый век. Не помню, чтобы я так долго с кем-нибудь разговаривала. Вы, должно быть, решили, что я настоящая болтунья. Но я обычно никогда не разговариваю.

— Не уходите, Пэтти.

— Я должна.

— Когда вы придете снова?

— Скоро. В конце концов, я же в доме, не правда ли?

Юджин протянул руку Пэтти. Теперь он установил ритуал рукопожатий. Это был способ прикоснуться к ней. Он заключил ее руку в свою ладонь, и его пальцы мимолетно погладили ее запястье. Он неохотно отпустил ее, и она быстро выскользнула за дверь, улыбнувшись и помахав ему рукой.

Юджин засуетился, прибирая комнату. Он собрал чашки и блюдца, смахнул крошки с пушистой зеленой скатерти. Пэтти съела четыре пирожных. Он полил растение в горшке, обнаружив, что листья его желтеют. С тех пор как

пропала икона, у него появилась привычка поливать его слишком часто. Затем сел на стул и посмотрел на пустое место, туда, где когда-то стояла икона.

Где она теперь? Странно было думать, что она в другом месте. Он бы предпочел считать, что она перестала существовать. Ему казалось, что он видит, как она страдает, тоскует, тщетно зовет его слабым голосом, проливая чудотворные слезы. Конечно, это было глупо, по-детски. Она — всего лишь кусок дерева. Ему следует обрести чувство соразмерности, определить масштаб своей потери. Он пытался побудить Пэтти именно так и сказать ему, но она слишком сочувствовала, чтобы понять его намеки. Бесполезно ожидать подбадривающего и успокаивающего разговора от Пэтти. Ему приходилось самому убеждать себя, что, в конце концов, это была всего лишь старая картина. На его долю выпали подлинные потери. Он пережил их. Откуда это нелепое горе сейчас? Даже лучше жить без этой вещи. Возможно, он слишком высоко ценил ее. Это была его последняя собственность, и она защищала его от мысли, что он все потерял.

Да, подумал он, вот в чем дело. Чувство собственности, от которого давно уже следовало

отказаться, чувство, что он обеспечен, оставалось с ним из-за иконы. Этот предмет, казалось, символически сконцентрировал в себе все, что он потерял: его любимых, годы жизни, Россию. Пока он обладал ею, все это не казалось полностью исчезнувшим. Он не ощущал себя человеком, потерявшим все. Теперь не осталось ничего. Все, что он любил и ценил, полностью прекратило существовать. Какая-то слабость в нем мешала до настоящего времени понять свое положение. Пусть будет так. Теперь он — лишенный всего человек, и лучше это знать. Так говорил он себе, но пока еще не мог таким образом думать. Икона путешествовала с его семьей, как дорогое домашнее животное, так далеко и так долго, что он продолжал горевать о ней, жалеть ее, жалеть себя и нуждаться в утешении.

Пэтти частично отвечала этим потребностям. Она постоянно горестно восклицала, воздев руки, оплакивала его потерю. Он бессвязно рассказывал ей об иконе, продолжал говорить о своей семье, о матери и сестре. Он поведал ей такие вещи, о которых не думал, что сможет кому-нибудь рассказать. Это привязывало Пэтти к нему. Часть его сущности переместилась в нее. Конечно, она не могла этого понять, как и не в состоянии

была стать стареющим русским эмигрантом, с европейским нутром. Но она знала о лишениях и смотрела на него своими темными глазами с красноватыми белками, повлажневшими от сострадания, улыбалась и кивала из-под потока черных волос и, вздыхая, склонялась к нему, как будто такое огромное сочувствие приносило физическую боль.

Он пытался заставить ее говорить о себе, и она рассказала ему немного о своем раннем детстве, утверждая при этом, что плохо помнит его, а у взрослой прошлого не было. Однажды она заметила: «Я еще не существую». «Я заставлю тебя жить», — уверенно сказал про себя Юджин. Ему очень хотелось касаться Пэтти. И он прикасался к ней, и не только во время рукопожатий, но мимолетно и тайно, как будто не замечая того; похлопывал ее по руке, рассказывая историю, или поглаживал по плечу, предлагая чай. Он намеревался коснуться ее волос. Эти прикосновения создавали в комнате своеобразный материальный образ Пэтти, притягивающей своим присутствием и манящей ложными надеждами. Порой таким же манящим казался ему настойчивый взгляд ее глаз, кроваво-красных в уголках, горячих, когда она в немом смущении

обращала к нему вопрошающий взор. Ему пришла в голову мысль, что он, похоже, влюбляется в Пэтти. Когда он подумал об этом, то сразу же успокоил себя, повторив слова, которые она так часто говорила: «Я здесь, я дома, я скоро вернусь». У него было много времени, чтобы узнать Пэтти, ее присутствие казалось ему необходимым, естественным, утешающим.

— Привет, — Лео просунул голову в дверь.

— Заходи, заходи.

Лео редко приходил. Юджин вскочил, ощущая неловкость в присутствии сына, как будто электрический разряд ослабил его и вывел из строя. Он резко отошел от кровати и прислонился к стене.

— Я уже лет сто пытаюсь зайти к тебе. Думал, эта баба никогда не перестанет здесь тявкать.

— Мне бы хотелось, чтобы ты не говорил таких гадостей, — машинально, устало сказал Юджин. Ему приходилось так часто повторять это.

— Ну, это же не обидело ее, не так ли? Хорошо, извини. Не хочешь сесть? Ты выглядишь так странно, стоя там в углу.

Юджин сел. Он рассматривал своего высокого стройного сына с нескрываемым удивлением, которое никогда не уменьшалось. Его поражало, что

он такой взрослый, большой, красивый и такой дерзкий. Вместе с удивлением пришли робость и смутная боль невыразимой любви. Они вечно говорили друг другу глупости, не могли наладить контакт, да и ухватиться было не за что. В лице Лео Юджин читал изумление, равноценное своему собственному, выражение неуверенности, полной тревожных предчувствий. Они, словно неясные, не поддающиеся контролю существа, предстали друг перед другом в комнате. Юджин сгорбился.

— В чем дело?

— Я должен кое-что сказать тебе, вернее, кое в чем сознаться.

— В чем?

— Это насчет той старой штуки.

— Какой штуки?

— Иконы.

— О, ее нашли? — Юджин забыл свое горе. Его тело как будто снова налилось силой.

— Не совсем. Но я знаю, где она. По крайней мере думаю, что знаю.

— Где же, где?

— Не так быстро, — сказал Лео. — Это долгая история. Не возражаешь, если я сяду на кровать?

Он забрался на нижнюю полку и сел подобрав

колени.

— Где она? Что с ней произошло?

— Ну, видишь ли, я взял ее, так сказать.

— Ты взял ее?

— Да. Мне нужны были деньги, так что я взял ее и продал. Думаю, она еще в том магазине, куда я ее отнес.

Юджин молчал. Он почувствовал острую боль унижения и не мог взглянуть на Лео, как будто ему самому было стыдно. Юджин смотрел в пол. Лео взял икону и продал ее. Это не просто потеря, как он воображал и с чем пытался примириться. Это было нечто гадкое, личное, опозорившее и отбросившее его назад. Он опустил голову и продолжал молчать.

— Ты же не рассердишься на меня?

С усилием Юджин посмотрел на ссутулившегося мальчика. Он не испытывал гнева, только стыд и замешательство человека, который позволил обидеть себя и победить. Он, как удары бича на своем теле, почувствовал стыд прежних лет, проведенных в трудовом лагере. Наконец он сказал:

— Слезай с кровати и дай мне посмотреть на тебя.

Лео тотчас же вскочил, встал перед отцом и, чуть подпрыгнув, соединил пятки. Уголки его

большого рта непроизвольно приподнялись, напоминая карикатуру на счастливого человека. Его бледное веснушчатое лицо выражало внимание и ожидание.

— Зачем ты сделал это, для чего тебе нужны были деньги?

— Ну, видишь ли, я знаю, это ужасно, но думаю, мне лучше рассказать тебе. Я растратил средства колледжа из банка клуба, казначеем которого я был. Я потратил деньги на массу разных вещей, по мелочам, как ты бы сказал. А затем я должен был отчитаться.

Юджину казалось, что он загнан в угол, — чувство, не раз уже испытанное прежде. Лео разыгрывал сцену и принуждал его играть тоже. Неужели не было никакого выхода, никаких способов поговорить просто и прямо друг с другом? Однако ни призыв, ни крик не могли прорваться через такой знакомый поток краснобайства. Он смотрел вниз на остроконечные башмаки Лео. Гнев мог бы помочь, но он не ощущал гнева, только печальное, пристыженное чувство поражения. Он — человек, над которым издевается собственный сын, и он ничего не может поделать.

— Не следовало так поступать. — Слова, которые он произнес, показались ему совершенно

бессмысленными. Их можно было с равным успехом сказать Гитлеру или урагану.

— Я знаю, но мне нужно было достать деньги. — Лео говорил объяснительным и энергичным тоном. — Иначе я был бы обесчещен.

— Ты и так обесчещен. Но теперь это уже не имеет значения.

Юджину хотелось, чтобы Лео ушел. Ему нужно поскорее прекратить эту боль.

— Боже мой, ты не можешь так говорить. Конечно же это имеет значение. Во всяком случае я собираюсь вернуть ее тебе.

— Не представляю, как ты сможешь это сделать, если ты уже потратил деньги. Да и не хочу ее возвращать. Я смогу обойтись без нее.

— Ты не должен прощать меня таким образом!

— Я не прощаю тебя. Я просто не хочу больше об этом говорить. Все это не имеет значения.

— Пожалуйста, не будь таким спокойным. Ты должен прийти в ярость и надавать мне пощечин.

— Я едва ли смогу сделать это сейчас, — сказал Юджин. Насупившись, он поднял глаза и посмотрел в бледное напряженное лицо, затем добавил: — А теперь, пожалуйста, уходи.

— Но я еще не сказал, как сожалею о сделан-

ном.

— Ты не сожалеешь.

— Ну, знаешь ли, это такое душевное состояние, не стоит об этом говорить.

— Достаточно того, что ты украл мою икону, — сказал Юджин. — И я не желаю слушать твою безумную болтовню. Я не понимаю тебя. Никогда не понимал.

— Так-то лучше. Ты начинаешь сердиться. Это пойдет тебе на пользу. Может, и мне заодно. Послушай, я правда сожалею. Это не лучшая моя идея. Но я верну ее назад. Может, просто украду ее снова.

— Если ты украдешь ее, — сказал Юджин, — я сдам тебя в полицию.

Он встал. И внезапно ощутил прилив гнева. Это пришло как облегчение, и сразу же возникло ощущение контакта. Создалось впечатление, будто он впервые обрел власть над Лео.

— Но ты же хочешь вернуть эту вещь назад, не так ли?

— Больше не хочу. Ты убил ее. Ты все испортил, и сделал это умышленно. Ты обидел меня и заставил страдать. Я старался тебя воспитать как следует, а ты стал лжецом и вором.

— Ну, может, мне просто не очень-то повезло.

— Что ты хочешь сказать?

— У меня никогда не было настоящего дома. Откуда взяться чувству собственности?

— Я делал все, что мог, для тебя, ради тебя, — сказал Юджин. Его голос прозвучал жалобно. Затем его охватил новый порыв гнева. Как можно было так над ним насмехаться?

— Всю жизнь мы жили по-походному. Ты никогда не хотел ничего делать.

— Я работал как мог и содержал тебя. Я и сейчас поддерживаю тебя.

— Нет, не поддерживаешь. Ты даже не попытался стать англичанином.

— Я не мог. И почему я должен пытаться? Я русский. И ты тоже.

— Нет. Я никто. Мне никогда не удавалось заставить тебя понять, что все это не имеет для меня значения, все это — ничто.

Игровое выражение сошло с лица Лео. Уголки рта опустились, глаза прищурились. Он выглядел как напуганный, готовый расплакаться ребенок.

— Ты не можешь отрицать, кто ты есть.

— Я ненавижу все это. И твою проклятую икону ненавидел тоже. Ты создал вокруг себя маленькую Россию. Ты живешь в мире грез. Все, чего ты в действительности когда-либо хотел, — это

забраться в нору.

— Перестань на меня кричать.

— Я не кричу. А ты простил Советский Союз.

— Я не простил Советский Союз, хотя, возможно, и простил. Я не могу изменить историю. Почему я должен ненавидеть свою родину?

— Это не твоя родина. У тебя нет родины. И ты сделал так, что и у меня ее тоже нет. Боже, как жаль, что я не американец.

— Это самое ужасное, что я когда-либо от тебя слышал. И говори потише. Тебя услышат в доме священника.

— Какое мне дело, если они услышат меня? Пусть слышат. Мы ничем не хуже их, не так ли? Ты со своими «мисс Мюриель» и «пожалуйста, сэр» похож на проклятого раба.

— Перестань разговаривать со мной таким тоном и убирайся из комнаты. Ты никогда не уважал меня. Ты никогда не любил меня, как следовало.

— Почему я должен любить тебя? Ты мой проклятый отец.

— Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, — взмолилась Мюриель, только что вошедшая в дверь.

Лео тотчас же отвернулся и закрыл лицо ру-

ками. Юджин смотрел на нее сурово, как будто окаменев от ярости. Он был очень расстроен вторжением и ужасно рассержен тем, что Мюриель услышала.

— Извините, — сказала Мюриель, — я постучала, но вы оба говорили так громко, что не расслышали.

Наступило молчание. Юджин смотрел в стену. Он испытывал отвращение к себе, к Лео, отвращение ко всему. Его тело безнадежно обмякло. Лео, вернув лицу спокойное выражение, повернулся к Мюриель. Он смотрел на нее безучастно и вяло, как будто ожидая указаний. Во взгляде Мюриель читалось отвращение.

— Не следует говорить с отцом таким образом, — сказала Мюриель. — Ты мне противен.

Лео смотрел на нее еще минуту, казалось, что он очень устал и с трудом понимает ее. Затем улыбнулся:

— Рептилия, не так ли?

— Убирайся! — воскликнула Мюриель.

Лео повернулся было к отцу, но, не посмотрев на него, сделал быстрое движение, будто отбрасывая что-то, и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью.

Мюриель опустила глаза перед Юджином. На

ней было надето твидовое пальто, на котором все еще поблескивали маленькие крупинки снега. По плечам пролегла снежно-белая бороздка. Под мышкой она сжимала маленький, завернутый в коричневую бумагу пакет. Юджин смотрел на ее короткие волосы, влажные и потемневшие на концах, на ее тонкое умное лицо и ненавидел ее английскую отчужденность, ее неосознанное чувство превосходства и то, что она посмела выгнать его сына из комнаты. Надо было дать их разговору с Лео его естественный ход. Может, в конце концов они поняли бы друг друга. Он ощутил это сейчас, когда Лео ушел. Даже гнев и крик были своего рода связью, чем-то наподобие объятия, приблизившего их друг к другу. Может, тогда они сумели бы своим отношениям придать определенный смысл. Теперь же неуместное вторжение девушки, оказавшейся свидетельницей этой сцены, сделало ее безобразной и просто позорной для них обоих. Он глубоко вздохнул от горя и обиды.

— Мне ужасно жаль, что я вмешалась, — сказала Мюриель, наконец подняв на него глаза. Казалось, она слегка задыхается. — Но я не могла слышать, как он говорит такое.

Она выглядела очень смущенной, но в то же

время в ее взгляде было что-то назойливое, почти агрессивное.

«Ну почему же ты не уходишь», — подумал Юджин, но сказал:

— Да.

— Мне ужасно жаль, — повторила Мюриель.

Юджин молчал. Он не мог простить ей, что она услышала его разговор с Лео.

— Надеюсь, вы не будете возражать, — продолжала Мюриель. — Мистер Пешков… Юджин… Можно мне так вас называть? Надеюсь, вы не будете возражать…

Она снова опустила глаза и стала возиться с завернутым в коричневую бумагу свертком, который принесла.

— Что это? — спросил Юджин.

— Пожалуйста, простите меня, — сказала Мюриель. — Я принесла вам маленький подарок. Русский подарок. Я так жалела, когда пропала ваша икона. Я знаю, это не заменит ее. Но я сочла ее очень красивой и подумала, что она, может, немного вас развеселит. Я очень надеюсь, что она вам понравится.

Обертка упала на пол, и Мюриель протянула Юджину что-то маленькое, ярко раскрашенное. Он машинально взял и стал пристально рас-

сматривать вещь. Это была расписная русская шкатулка. Глянцевые фигуры Руслана и Людмилы в ярко-красных и синих тонах выделялись на черном фоне.

Юджин смотрел на нее с болью и замешательством. Она напомнила ему о чем-то ужасном, и на минуту показалось, что какой-то печальный свет воспоминаний готов вот-вот открыться перед ним. Где он видел это прежде, очень-очень давно? Прикрытая завесой память заключала в себе невыразимую боль потери, но не обнаруживала себя полностью. Он продолжал смотреть на шкатулку. Слезы подступили к глазам и пролились. Он пытался сдержать их, прикрыть рукой. Плача, он склонил голову над шкатулкой. Он не мог остановить слезы, но и не мог все еще вспомнить.

Глава 12

«Тот, кто думает спасти идею Добра, привязывая ее к понятию воли, предполагает главным образом предотвратить искажение этой наивысшей ценности путем установления необходимой связи со специфическими и «слишком гуманитарными» факультетами и институтами. С тех пор как официальная идея Добра стала считаться оскорбительной для человеческой свободы, появились попытки разрешить ее с помощью определенных действий. Если добродетель будет проявляться в движении или «указующем персте, само ее величие сохранит ее от вырождения. Я уже доказывал, что такая теория ошибочна и вводит в заблуждение открыто проповедуемыми ложными выводами, чтобы завуалировать тайную похвалу определенной личности. Воля, выбор и действие — также понятия двусмысленные. Я подхожу теперь к более серьезным и наталкивающим на

размышления возражениям. Если идею Добра отделить от идеи совершенства, она становится как бы выхолощенной, и любая теория, допускающая это разделение, какими бы возвышенными идеями ни прикрывалась, в конце концов оказывается вульгарным релятивизмом. Если идея Добра не отделена от идеи совершенства, невозможно избежать проблемы «трансцендентного». Таким образом, «авторитет» добродетели возвращается и должен утвердиться на сцене в более усложненной форме».

Маркус изучил последний абзац введения в пятую главу трезво и, как он полагал, объективно. В том, что он писал, присутствовал пророческий тон, которого он сначала пытался избежать. Маркус представлял себе книгу как очень спокойное и размеренное повествование, состоящее из ряда крайне простых утверждений. Но проза, по мере того как она впитывала мысль, становилась все более риторической и убедительной. Температура возрастала. Возможно, это было неизбежно. Сложность аргументации не могла не вызвать сильного жара, как при трении. Может ли фи-

лософия действительности быть бесстрастной? Должна ли быть? Маркус с глубоким удовлетворением ответил нет. Но очень важно сохранить кристальную чистоту. Его книга адресована не только философам. Он чувствовал свою ответственность перед эпохой. Le Pascal de nos jours. Он улыбнулся.

Маркус вернулся к своей книге как к определенному утешению. С каждым днем она становилась все больше, и он как будто тоже рос вместе с нею. Это успокаивало его. Он поднимался, как корабль, на волнах прилива. Но в то же время был расстроен, напуган и ощущал некоторую неуверенность. Встреча с епископом потрясла его, хотя он и не мог полностью осознать, чем именно. Испытывая страдания из-за Карела, он смутно чего-то ждал от епископа. Ему бы хотелось иметь возможность поговорить о брате в простом, может быть даже нелестном, тоне. Он надеялся, что епископ проявит своего рода церковный вариант здравого смысла Норы, и рассчитывал на что-то бодрящее, живое и доверительное. Такими были епископы, именно для этого они и существовали. И епископ, казалось, понимал это тоже, поскольку выглядел он так, как от него ждали. Но то, что было сказано в действительности, отличалось

от того, что должно было прозвучать, и внушало тревогу, как будто реплики в пьесе немного изменили. Никаких успокаивающих слов о Кареле и о положении в целом, чего так ждал Маркус, он не услышал. За легковесным психологическим разговором епископа, за его мирскими афоризмами открывалась темная сцепа, как будто стены раздвинулись и обнажили впадину в небесах, черную, бурлящую, непонятную. Маркус испытал удивительное облегчение, вернувшись к своей книге и обнаружив, что его доводы звучат так же обоснованно, как всегда.

Маркус сам не знал, какое мнение о Кареле он хотел услышать от епископа. Предательством казалось желание услышать враждебное мнение. И все же ему бы, несомненно, помогло, если бы прозвучало хотя бы элементарное осуждение. Конечно, епископу следовало проявлять осторожность, но есть же способы реально охарактеризовать людей и успокаивать других. Маркусу хотелось, чтобы они совместно приняли своего рода коллективное заключение и осуществили некий жест солидарности здравомыслящих людей. Он осознал, слегка огорченный и шокированный сам собой, что очень хотел услышать заверения, будто Карел — несчастный больной человек и

это вполне типичный психологический случай. А если он не был таковым, то что же с ним?

Надежды Маркуса не оправдались, и то, чего он опасался, приближалось и становилось все больше и больше. Однако чего он боялся? Карел не угрожал ему лично и едва ли вспоминал о его существовании. Почему эта темная фигура, казалось, всегда маячила рядом с ним? Маркус знал, что должен снова пойти к своему брату, он пытался представить себе эту встречу как можно проще и рациональнее, но ощущал все то же дуновение страха. Он боялся, что произойдет нечто бессмысленное, боялся услышать смех Карела, увидеть, как тот входит, снова обнажая эту черную бурлящую вселенную, открывая ее внезапно так близко, как муравьиное гнездо, как яйца насекомых на кончике пальца.

Он послал цветы Элизабет, но она не ответила. Сначала это обидело его, потом напугало. Ему не хотелось, чтобы образ Элизабет тоже стал неузнаваемым, хотя уже ощущал, как он таинственно изменяется, словно некая злая сила действует против него и против нее. В его воображении Элизабет все время менялась, ее фигура под темным покрывалом превращалась в кокон, состоящий из тьмы. Он больше не мог отчетливо предста-

вить себе ее лицо. Ее образ застилало какое-то облако. Здесь таилась опасность. Но для него или для нее? Днем он решил, что должен рассеять эти нелепые фантазии, а для этого нужно пойти и навестить ее, пройдя прямо в ее комнату, если это окажется необходимым. Едва ли они смогут удержать его силой. Или смогут? Теперь все казалось возможным. Маркус размышлял, и причудливые, волнующие образы преследовали его в преддверии ночи, а затем в буйстве сна.

Был опять туманный день, и туман смешивался с ароматом табака. В комнате тепло, и даже запах тумана кажется знакомым и дружеским. Уже поздний вечер, после десяти, Маркус отложил в сторону свою рукопись. Прежде чем идти спать, ему следовало ответить на кипу писем, касающихся школьных дел. Оказалось невозможным держаться абсолютно в стороне от школы. Он должен решить вопрос о новом здании химического факультета. Это нельзя откладывать до лета. Он разложил письма по степени важности, придвинул чашку горячего молока и дрожжевой экстракт и прислушался к мурлыканью газового огня и приглушенному шуму транспорта на Эрлз-Корт Роуд. Занавески были задернуты, и единственная лампа освещала рабочий стол с раз-

бросанными бумагами и большой застекленный книжный шкаф, принадлежавший когда-то отцу Маркуса. Гравюры с видами Рима и две шоколадно-коричневые вазы клуазоне[12] на каминной полке тоже принадлежали к семейным реликвиям. Отчасти из равнодушия к окружающей обстановке, а отчасти из-за неуверенности в своем вкусе Маркус приобрел очень мало вещей для себя. Хотя он жил здесь уже несколько лет во время школьных каникул, квартира по-прежнему сохраняла нежилой вид. Это устраивало Маркуса, которому нравилось считать себя аскетом. Он наслаждался простотой маленькой квартирки, ему нравился район и почти деревенская жизнь Эрлз-Корта. Он привык к ней. Какого черта он согласился переехать в квартиру наверху дома Норы, где будет бесконечная суета из-за подушечек и занавесок. А он, похоже, согласился.

Рядом раздался громкий гудящий звук, Маркус подскочил и схватился за сердце. Что с ним происходит? Его напугал собственный дверной звонок. Но кто это мог прийти в столь поздний час? У Маркуса редко бывали такие посетители.

Его квартира находилась на первом этаже. Он

---

[12] Примечания: 12
Перегородчатая эмаль.

открыл дверь, включил свет на лестничной площадке и сбежал по ступеням. Все еще волнуясь, он долго возился с замком и наконец открыл дверь.

Фигура, закутанная в пальто с поднятым воротником, стояла в вечерней дымке. На секунду Маркусу почему-то показалось, что это Карел. Затем он узнал Лео Пешкова.

— О! — ошеломленно пробормотал Маркус. Придя в себя, он сказал: — Добрый вечер, Лео. Чем могу быть полезен?

Вокруг головы Лео был обмотан шерстяной шарф. Он раздвинул воротник и сказал сквозь щель, держа руку под подбородком.

— Можно зайти и поговорить с вами одну минуту?

— Немного поздновато, не так ли?

— Хорошо. Я приду завтра.

— Заходи, заходи.

Ледяной, пропитанный туманом воздух поплыл вслед за ними вверх по ступеням. В комнате Маркуса стало заметно холоднее.

Маркус зажег еще несколько ламп. Он был взволнован и рад приходу Лео, но засомневался, стоит ли предлагать мальчику виски.

— Снимай пальто. Да, садись сюда.

Лео уже однажды был в этой комнате, однако

с интересом оглядывался вокруг. По ряду причин Маркус предпочитал не вспоминать о том посещении. Обращение к мальчику оказалось безуспешным, более того, он почувствовал, что тот сам относится к нему покровительственно. Воспоминание принесло с собой чувство неловкости. Он решил продемонстрировать свою отчужденность и сел напротив Лео с другой стороны от камина. Теперь они оба сидели в низких кожаных креслах, вытянув ноги к золотистой стене огня. Лицо Лео, обычно такое бледное, сейчас порозовело от холода, нос покраснел, а глаза слезились. Под взглядом Маркуса его черты смягчились, и он вернулся к действительности.

Холодная ночь восстановила между ними связь.

— Холодно?

— Ужасно.

— Снег идет?

— Перестал. Здесь хорошо. Боюсь, я заболеваю. Вы не боитесь? Знаете, как это бывает, когда заходишь в теплое помещение.

— Выпьешь теплого молока?

— Нет, спасибо.

— Виски?

— Нет. Лучше подождать. Может, через минуту

вы спустите меня с лестницы.

— Ну, ну, в чем же дело?

— Я должен говорить кратко и прямо?

Лео вытер лицо носовым платком, скомкал его и прижался к нему щекой, как к подушке. Поза выглядела неосознанно застенчивой. Он улыбнулся усталой умной улыбкой, которую Маркус так хорошо помнил. Лео был очень красивым мальчиком.

— Да, пожалуйста.

— Что ж, мне нужны деньги.

— Я думаю, нет необходимости быть настолько кратким, — сказал Маркус. — Тебе придется сказать мне зачем. И предупреждаю, что отвечу, скорее всего, отказом.

Он коротко улыбнулся:

— Ну, я так и знал, что придется пройти через это. С чего начать? Вы не одобрите.

— Неважно. Рассказывай.

— Но для меня это важно. Послушайте. Начать, наверное, нужно с того, что я помолвлен.

— В самом деле? — спросил Маркус. Он был неприятно удивлен.

— Да. Отец моей невесты помешался на том, чтобы мы купили квартиру, и именно ту, которую он присмотрел. Он был готов вложить какую-то

сумму, чтобы внести залог. Я тоже должен был вложить часть денег.

— И ты хочешь, чтобы я одолжил тебе? — спросил Маркус.

— Нет, нет, не так быстро. Мы еще не подошли к сути. Около семидесяти пяти фунтов, сказал старик. Он рассматривал это как своего рода испытание. Я должен был их откуда-то достать.

— И ты достал?

— Да. Вы никогда не догадаетесь откуда.

— Откуда?

— Вам это совершенно не понравится.

— Продолжай, продолжай.

— Вы знаете нашу фамильную икону, эту религиозную картину с тремя ангелами, которую до безумия любит мой старик? Я взял ее и продал.

Маркус смутно припомнил икону.

— Твой отец позволил сделать это?

— Нет. Я просто взял ее, можно сказать украл.

Лео нагнулся вперед, выжидающе изучая лицо Маркуса. С неприятным чувством, будто над ним производят опыт, Маркус контролировал выражение своего лица. В ситуации было что-то знакомое и одновременно нечто невероятное. Лео знал его достаточно хорошо. Маркус не слишком беспокоился об иконе Юджина, его больше

заботило, как произвести нужное впечатление на Лео. Он решил холодно сказать:

— Продолжай.

— Мой отец ужасно расстроился.

— Можно представить. Итак, ты добыл деньги.

— Итак, я добыл деньги. Я продал эту штуку за семьдесят пять фунтов. Но затем произошел глупейший случай. Вы подумаете, что я ужасный дурак.

— Не важно, что я подумаю. Что произошло?

— Видите ли, эта девушка… Ее зовут Салли. У нее есть брат, по имени Лен. А Лен знает очень много о скачках. И… Вы сочтете меня ужасным дураком…

— Заканчивай с этим.

— Ну, Лен уговорил меня поставить деньги на лошадь, которая, как он сказал, непременно победит, а лошадь проиграла.

— Скверно, — сказал Маркус. — А теперь, полагаю, ты хочешь, чтобы я одолжил тебе семьдесят пять фунтов, чтобы ты смог войти в пай с отцом Салли. Боюсь, тебе не повезет.

Маркус по-прежнему говорил холодно. Он ощущал, что Лео наблюдает за его лицом с вниманием притаившейся в засаде кошки. Маркус машинально поднял руку и прикрыл лицо, делая

вид, будто закрывается от огня. В его разговорах с Лео всегда присутствовала почти механическая легкость и точность шаблона. И теперь в возникшем между ними напряжении, в явном предвкушении Лео он ощутил физическую силу знакомой системы. Но на этот раз все должно быть по-другому, необходимо сломать шаблон. Маркусу пришло в голову, что именно этот шаблон всегда мешал ему установить контакт с Лео, по-настоящему понять его. Маркус убрал руку и посмотрел на юношу холодно ж пытливо. Да, все должно быть по-другому. Лицо его стало непреклонным.

— О нет, нет, — сказал Лео после паузы. — Меня удивляет, что вы так подумали. Я готов нести ответственность за последствия моих действий. Я готов рискнуть отношениями с папашей Салли. Но я не вижу причин, почему мой отец должен страдать.

— Ты же умышленно заставил его страдать.

— Я знаю. Вы не допускаете такой мысли, что я, возможно, сожалею об этом и стыжусь?

— Стыдишься? — переспросил Маркус. — Ты? — Он внезапно рассмеялся, затем встал, подошел к столу, где лежала его рукопись, продолжая от души смеяться. Он внезапно почувствовал, что

освободился, ощутил способность двигаться, размахивать руками, и предложил Лео.

— Выпей виски.

Маркус достал бутылку из буфета. Когда он протянул Лео стакан, тот все еще выглядел расстроенным. Маркус, напротив, был так рад, что почти забыл всю эту историю.

— Вы не очень-то высокого мнения обо мне, не так ли? — спросил Лео.

— Не очень, — согласился Маркус. — Но продолжай, чего же ты хочешь?

— Ну, я не стану настаивать, что испытываю стыд, — сказал Лео. Он вновь обрел самообладание и даже слегка улыбался. — Как можно знать, что ты чувствуешь? Все это субъективно. Не стоит обращать внимание на мои побуждения. Мне и самому они не всегда понятны. Я намерен вернуть икону.

— Итак, ты хочешь, чтобы я одолжил тебе семьдесят пять фунтов.

— Боюсь, все не так просто, — заметил Лео. Он встал, продолжая потягивать виски. Они смотрели друг на друга, прислонившись к противоположным: краям камина. — Это будет стоить вам немного дороже.

— Ты хочешь сказать…

— Да. Я вернулся в магазин посмотреть, там ли она все еще. Она была в витрине, оцененная в триста фунтов.

— Понимаю, — сказал Маркус. — Ты оказался! и дураком, и мошенником.

— Я оказался и дураком, и мошенником. Мне очень жаль.

— Чего я не понимаю, так это, почему ты прибежал ко мне с этой отвратительной историей?

Воцарилось молчание, во время которого Маркус пожалел о заданном вопросе. Лео опустил глаза, затем тихо сказал:

— Я уверен, вы знаете почему.

Веселость Маркуса мгновенно исчезла. Снова они играли в кошки-мышки. Маркус поспешно сказал:

— Я, безусловно, не собираюсь помогать тебе. — Но, произнося эти слова, он с волнением почувствовал, что, конечно же, поможет и что Лео это тоже знает.

Лео улыбнулся, глядя вниз на медную каминную решетку, затем снова стал серьезным. Он продолжал, как будто не слышал последней реплики Маркуса:

— Мне жаль, что вы не допускаете возможности, будто я могу испытывать стыд. Я не такой

скверный, как вы считаете. Но давайте поговорим о поступках, а не о мотивах. Я не стал бы просить вас об этом одолжении только ради себя. Я просто должен вернуть икону. Мой старик убит горем.

Он снова улыбнулся.

— Твой отец действительно так любит эту вещь?

— Это его самое драгоценное достояние. Он совершенно уничтожен и состарился на десять лет.

— Перестань улыбаться, — сказал Маркус. Он почувствовал, как прежнее знакомое беспомощное раздражение овладевает им. Ему захотелось ударить Лео. — По правде говоря, я думаю, что ты самый эгоистичный и бесчувственный молодой человек, с которым я имел несчастье познакомиться.

— Мне очень жаль, — сказал Лео едва слышно.

Он осторожно поднял задумчивое лицо, затем опустил голову.

— Тебе действительно следует сожалеть о том, что ты сделал, и я надеюсь, ты сожалеешь. Ты всегда представлял, что можешь просто взять и отказаться от морали, но это не так просто. Ты не так свободен, как думаешь.

— Я начинаю это понимать, — пробормотал

Лео все так же полушепотом.

— К черту! — воскликнул Маркус. Разговор закончился не так, как он предполагал. Все это происходило уже много раз прежде. И он продолжил: — Меня не интересует твоя неразбериха, и я не намерен помогать тебе. Вот и все.

Лео осторожно посмотрел на Маркуса, а тот повернулся к нему спиной и занялся письмами на столе. Стояла тишина. Затем Лео сказал:

— В таком случае мне лучше уйти. Извините, что побеспокоил вас.

Маркус обернулся, Лео поднимал свое пальто. Маркус забрал пальто из его рук. Лео пристально посмотрел на Маркуса, и его лицо прояснилось, засияло. Маркус бросил пальто на пол.

— Адрес магазина? — потребовал Маркус.

— Вот, на этой бумаге, я записал его.

— Пойду поговорю с продавцом, — сказал Маркус. — Я ничего не обещаю. А теперь уходи.

Лео взял пальто, шарф и надел их. Теперь он смотрел на Маркуса с безмятежной улыбкой, излучающей не столько благодарность, сколько легкую заботливую жалость. Затем, помедлив, протянул руку и коснулся плеча Маркуса. Это было, скорее, легкое похлопывание, а не ласка. Маркус поймал ускользающее запястье Лео,

яростно сжал его и отбросил. Мгновение они пристально смотрели друг на друга. Затем Маркус отошел, воздвигнув между собой и Лео стол.

— Уходи.

Дверь закрылась. Маркус сел, тяжело дыша. Выпил немного виски. Он испытывал одновременно волнение и отвращение. Немного погодя он стал смеяться, а когда лег спать, ему приснился Карел.

Глава 13

— Мюриель.

— Да.

— Я могу поговорить с тобой минуту?

Мюриель медленно поднялась обратно по ступеням. Отец говорил с ней через полуоткрытую дверь, и в комнате, казалось, было темно. «Патетическая симфония», так громко звучавшая всего несколько минут назад, что была слышна в ее комнате, теперь превратилась в сиплый шепот.

Мюриель осторожно приоткрыла дверь, как будто ожидая за ней какую-то преграду, и бочком втиснулась в комнату. Хотя уже наступило утро и, к тому же чуть менее туманное, чем обычно, занавески у Карела все еще были задернуты. Воздух в комнате казался холодным и спертым, Мюриель предположила, что отец всю ночь не спал. Единственная, закрепленная под углом лампа освещала книгу, открытую на его столе. Карел, в первый момент невидимый, материализовался со стороны софы из черного конского волоса. Он подошел к столу и сел, потянув лампу вверх, и комната немного осветилась.

— Закрой дверь. Сколько времени?

— Около десяти.

— Садись, пожалуйста.

Мюриель неловко села, посмотрев через стол ему в лицо.

— Ты уже нашла работу, Мюриель?

— Нет еще.

— Надеюсь, найдешь.

— Найду.

— Как себя чувствует сегодня Элизабет? Я слышал, как звенел ее колокольчик.

— Она выглядит как обычно.

— Я хочу поговорить с тобой об Элизабет.

Мюриель вглядывалась в красивое, удивительно напряженное лицо отца. Одна половина его была высвечена лампой, другая — скрывалась во тьме. Оно казалось слишком спокойным. Такое лицо могло принадлежать какому-то недоступному равнодушному отшельнику неизвестной веры, скрывающемуся в отдаленной горной пещере. Мюриель содрогнулась. Знакомое чувство уныния, страха и трепета струилось на нее от отца, как благоухание.

Мюриель проснулась этим утром в плохом настроении. Испытывая недобрые предчувствия, она припомнила свой разговор с Лео и ту нелепую

сделку, которую с ним заключила. Мысль ввести это безответственное существо в упорядоченный и замкнутый мир Элизабет сейчас казалась ей не столько необдуманной, сколько бессмысленной. Теперь она более ясно поняла: то, что привлекало ее в Лео и заставило рассматривать его как «подходящего» для Элизабет и даже в какой-то мере «подходящего» для нее самой, заключалось в его моральной или, скорее, аморальной игривости, той жизнерадостной готовности поступать дурно, так безобразно вылившейся в отвратительную кражу и в ту сцену с Юджином, которую она невольно подслушала. Прежде она думала о Лео как о сильнодействующем средстве, о чистой стихийной силе. И действительно, было какое-то чувство чистоты в этой силе, что и заставило ее так охотно представить его себе как инструмент. Такое простодушно-эгоистичное создание не могло нести в себе угрозу. Подобных вещей Мюриель не боялась. Она льстила себя надеждой, что может их контролировать. Однако сейчас она была и потрясена, и сбита с толку, испытывала отвращение к Лео и в то же время не считала себя вправе решительно осудить его, как будто сама уже стала его соучастницей.

Мюриель находила утешение в огромной жа-

лости к Юджину, жалости, особую силу которой придала ее неудачная попытка осудить его сына. В крайнем волнении она ушла из дома за покупками и, когда проходила через Ладгейт Хилл, остановилась потрясенная, увидев русскую шкатулку, выставленную на продажу. Она никогда прежде не замечала такого рода вещей, и то, как живо привлекла ее внимание эта шкатулка, не могло не показаться значительным. Она бежала всю дорогу домой. Мюриель надеялась, что Юджину понравится шкатулка и ему будет приятно, что она думала о нем, но такой реакции она не ожидала. Его слезы благодарности поразили Мюриель и мгновенно сделали ее очень счастливой. Она была права — его порадовала ее забота. Позже она сожалела, что пришла в замешательство и покинула его слишком быстро. Ей следовало остаться, она могла бы обнять его и даже, может, в тот момент поцеловать. Когда она металась этой ночью в своей постели, то представляла, как целует его, и стонала в подушку.

Сейчас, сидя перед отцом в полуосвещенной комнате, она чувствовала себя виноватой. Она всегда испытывала перед ним чувство вины. Теперь она ощущала ее из-за Лео, но особенно из-за Юджина. Она начинала любить Юджина.

Мюриель удерживалась на краю пропасти.

— Что с тобой, Мюриель?

— Ничего. О чем ты хотел поговорить со мной?

— Об Элизабет. Я серьезно беспокоюсь за нее. — Мюриель сосредоточилась. Лампа отбрасывала круг света — широкую дугу — на стол, другая часть круга падала на пол и рассеивалась. Если бы только был свет за пределами этой комнаты, свет, который возможно было впустить! Мюриель ощущала взгляд отца. Он как будто давил на нее. Она пристально смотрела на ясно очерченную дугу света.

— Мне показалось, что с ней все в порядке. Она не жаловалась на новые боли.

— Я имею в виду не физическое состояние. — Мюриель почувствовала, что ее, словно легкое облако, охватывает сонливость. Оно жужжало, как рой пчел, и приближалось все ближе, ближе… Она заерзала на стуле, потирая одну лодыжку о другую.

— С Элизабет все в порядке. Не понимаю, что тебя беспокоит.

— Разве ты не замечаешь некоторой апатии?

Мюриель замечала. Но это не имело значения. Она поспешно сказала:

— Нет… Да. Движения утомляют ее, вот и все. А

еще эта ужасная погода.

— Думаю, это не все. Тебе следует быть более внимательной к своей кузине. Она перестала читать.

— Ну, читает она мало…

Это правда, Элизабет практически ничего не читала с тех пор, как они приехали в Лондон. Она проводила большую часть времени, разбираясь с головоломкой, или сидела, глядя на огонь. Но у Элизабет бывало подобное настроение и прежде. Это неизбежно для девушки, ведущей столь уединенную жизнь. Безусловно, это не имело большого значения.

— Она стала еще больше замыкаться в своем внутреннем мире. Повседневная жизнь ничего не значит для нее. Неужели ты не видишь этого?

— Нет, — с усилием сказала Мюриель. Она подняла глаза и встретила взгляд отца. Его взгляд, хотя и пристальный, казалось, слегка смягчился. Мюриель почудилось, будто ее глазное яблоко стало огромным пространством, по которому перемещался взгляд Карела. «Я должна все отрицать, — сказала себе Мюриель, едва ли осознавая, что имеет в виду. — Я должна все отрицать».

— Она пытается покинуть нас, — тихо сказал Карел. Он положил руки прямо перед собой на

стол, сложив пальцы вместе.

— Я не понимаю, что ты имеешь в виду, — сказала Мюриель, — если ты предполагаешь, что Элизабет становится неуравновешенной или что-то в этом роде, то я просто не соглашусь. Она абсолютно в порядке. — Голос Мюриель прозвучал резко и хрипло, прорываясь сквозь сплетение каких-то шелестящих звуков. Позже она поняла, что это все еще журчит «Патетическая симфония».

— Она пытается покинуть нас, — повторил Карел. — Трудное время предстоит нам с тобой. Если не сумеем удержать ее здесь, нам придется последовать за ней. — Он говорил теперь еще тише, задумчиво прижав руки к столу и слегка наклонившись вперед.

— Я действительно не понимаю тебя, — сказала Мюриель. Она испытывала вялость, страх, чувствовала, что задыхается, и не могла понять почему. Возможно, ей недоставало мужества. В ее мыслях высветилось слово «мужество». Она должна все отрицать.

— Ты очень хорошо все понимаешь. Очень хорошо, Мюриель, — возразил Карел. — Ты всегда понимала Элизабет.

— Ты знаешь, я очень люблю Элизабет… — ска-

зала Мюриель.

— Мы оба очень любим Элизабет. Мы всегда заботились о ней. Она — наше тайное сокровище, наше общее достояние.

Мюриель почувствовала, что должна устоять. Ее втягивали в какой-то заговор, вовлекали в какой-то отвратительный союз. Ей говорили, что она всегда была в таком заговоре, в таком союзе. Но это неправда. Или правда?

— Нет, нет, нет, — сказала она.

— Подожди, подожди, Мюриель, что ты отрицаешь? Мы всегда вместе заботились об Элизабет и будем заботиться впредь. Это так просто.

— Мне кажется, с ней все абсолютно в порядке, — сказала Мюриель. Она обнаружила, что ее руки все еще сжимают стол, а пальцы обращены к Карелу. Она убрала руки со стола и стиснула их.

— Конечно, с ней все в порядке, Мюриель, и с ней все будет хорошо. Только мы обязаны еще больше заботиться о ней и уберечь ее от потрясений. Ее нужно предоставить своим мыслям, своим мечтам. И чтобы не было никаких неожиданностей, никаких вторжений. Они могут привести к тяжелым последствиям.

Шепот «Патетической симфонии» достиг своей кульминации, и патефон отключился. В насту-

пившей тревожной тишине Мюриель громко сказала:

— Я не согласна. Мне кажется, ей нужно видеть больше молодежи. Ей просто скучно, и было бы полезно увидеть новых людей. Это одиночество делает ее такой сонной.

— Сонной, — повторил Карел. — Точно. — Наступила тишина. Мюриель показалось, что она снова слышит в тишине какое-то журчание. Возможно, это были ее мысли — мысли, которые Карел таинственным образом мог читать.

Карел продолжал:

— Опасно будить лунатика.

— Элизабет не лунатик, — возразила Мюриель. — Она просто девушка с больной спиной, которой немного одиноко, и она подавлена. — Однако образ лунатика очень подходил ей. «Мужество», — снова сказала себе Мюриель и подумала, не произнесла ли она это вслух.

— Тяжелейшие последствия, — снова повторил Карел. — Элизабет — фантазерка, которая плетет паутину в своих мечтах. Эта паутина — ее жизнь и ее счастье. И наша обязанность, твоя и моя, помочь ей, защитить ее, самим вжиться в эту паутину, быть с ней и терпеть ее общество, пока сможем. Это трудная задача, и она может быть

решена только в атмосфере полной тишины и мира. — Его голос перешел в шепот.

— Естественно, я постараюсь…

— Не должно быть ничего, что напугало бы ее, никаких внезапных движений, никаких нарушений привычного порядка, который ты установила и так замечательно поддерживала вокруг нее. Ни она, ни я не могли бы желать более усердной няни. Ты все делала очень хорошо. Но сейчас необходимо усилить заботу и бдительность. Мы должны стать к ней еще добрее.

— Я все же считаю… — начала Мюриель.

— Элизабет теперь еще в большей степени, чем раньше, не может вынести какое-либо потрясение. Мне необходимо твое заверение, я хочу услышать твое обещание, что ты будешь защищать ее так же верно, как защищала всегда.

— Конечно… — сказала Мюриель.

— Ты проследишь, чтобы к ней никто не вторгся и не побеспокоил ее? Ты обещаешь это?

— Ладно, да…

— Вот и хорошо. Я буду полагаться на тебя. У нас есть бесценное сокровище, которое мы должны вместе охранять.

Мюриель молчала. Она чувствовала, что должна запротестовать, отказаться, закричать,

выкрикнуть имя Элизабет, призвать далеких неистовых богов в это смертельно тихое место. Но она не могла говорить.

— Мы понимаем друг друга, — сказал Карел. Его тон дал понять, что она свободна.

Мюриель встала. Она попыталась что-то сказать, но теперь Карел тоже поднялся. Желание поскорее выбраться из комнаты перенесло ее к двери. Она оглянулась и посмотрела во тьму. Какой же он высокий. Она вышла, полуприкрыв за собой дверь.

Frere Jacques, frere Jacques, dormez-vous? «Патетическая симфония» зазвучала вновь.

Мюриель стояла у нижней ступени лестницы. Дом снова наполнился едва слышной музыкой. Ей нужен был воздух, движение, ей хотелось бежать, лететь, все, что угодно, только не это спокойствие. Она не могла думать о Кареле и о тех странных узах, которые он, казалось, установил между ними. Присутствие отца отягощало ее, угнетало не только морально, но и физически. Ей казалось, что под этим бременем она опустилась на колени перед Карелом. Если бы только она могла сбросить это бремя, если бы какая-то милосердная сила могла освободить ее. Но темный образ, отступая, уже принес в поле зрения своего

лучезарного двойника. Юджин. Все время, пока была с отцом, она думала о Юджине. Только это обороняло ее от гнета его взгляда. Она произносила про себя имя Юджина, возможно даже промолвила его вслух. «Я положу голову ему на грудь. Все будет хорошо».

Ей стало легко. Бремя исчезло. Ее ноги слегка подрагивали от легкости, как листья на ветру. Она прошла через кухню и дальше, к его двери. Ее тело тянулось к нему, и она падала, падала. Она подошла к двери и, помертвев, остановилась. Из комнаты доносился голос… Голос Пэтти.

Мюриель стояла чуть нагнувшись, остановленная на ходу. Лицо ее сморщилось, и она прикрыла его рукой.

— Это опять ты, — сказал Лео за спиной. — Заходи. — Мюриель медленно повернулась, прошла через дверь его комнаты и разразилась слезами.

— Дорогая, дорогая, дорогая, — повторял Лео. — Садись. Сюда, на кровать. Возьми мой платок, он чистый.

Мюриель взяла платок, вытерла глаза и протяжно вздохнула, рассеянно глядя на ноги Лео. Слезы, появившиеся на мгновение, высохли. У Мюриель было мало слез.

Лео встал перед ней на колени и положил ру-

ку на плечо. Затем довольно неловко сжал ее обеими руками и отодвинулся, сев перед ней на корточки.

— В чем дело? Расскажи дядюшке Лео.

— Ничего, — ответила Мюриель холодным, усталым голосом. — Просто я была ужасно раздражена. А теперь все в порядке.

— Нет, не в порядке. Я вижу. Скажи мне.

— Это слишком запутано. Ты не поймешь.

— Ну, во всяком случае останься и поговори со мной. Поговори о чем угодно. Это пойдет тебе на пользу, ты знаешь.

Возможно, он прав. Она смотрела на его волосы, напоминающие пушистый мех, в светло-серых глазах отражались одновременно и озабоченность, и веселье. Это было существо, не выносившее кошмаров.

— Хорошо. Расскажи мне кое-что. Ты вернул эту икону назад?

И Лео встал:

— Нет, но верну, непременно верну. Послушай, давай по-настоящему поговорим друг с другом. Мне надоели все эти перебранки и подшучивания. Ты должна заставить меня стать серьезным. Ты сможешь, если попытаешься. Ты попытаешься?

Она посмотрела на него:

— Я ничего не смогу поделать с тобой.

— Потому что ты обо мне такого дурного мнения? Ведь ты плохо думаешь обо мне, не так ли?

— Не знаю, — сказала Мюриель. — Это не имеет значения. Я плохо думаю и о себе.

— Это не шутка.

— Я знаю, что это не шутка.

— А насчет иконы… Я верну ее. И если не возражаешь, то не стану рассказывать — каким образом. Но я не горжусь собой. Я только что совершил такое, что даже я…

— Ты не украл снова?

— Нет. Хуже. Но не расскажу тебе об этом. Я намерен рассказать тебе о другом, хотя это менее важно. Но символично. Почему это должно тебя интересовать?

— О чем ты говоришь?

— Когда я говорил тебе, почему я продал икону, я не сказал тебе правды. В действительности я солгал: тебе одно, отцу другое, и третье — ну, третьей стороне, которая оказалась вовлечена.

— Я догадалась, тебе нужны деньги, чтобы сделать операцию девушке.

— Ну, не совсем. Я говорю «не совсем», потому что… ну, видишь ли, операция действительно

была, но не сейчас, несколько месяцев назад, и девушка теперь в действительности ушла к другому. Но не в ней дело. Видишь ли, я тогда одолжил деньги на операцию, занял их у женщины постарше, которая, ну, отнеслась с сочувствием.

— Понимаю. Так что теперь…

— Это имело последствия, — сказал Лео. — Я не имею ввиду ничего сенсационного. Мне не пришлось спать с ней, чтобы получить деньги. Совсем нет. Она ужасно корректная. Но она такая… нам пришлось стать близкими друзьями, ты понимаешь, что я имею в виду. Она относится ко мне по-дружески, с симпатией и хочет все знать обо мне и помогать. Я ощущаю себя осой, завязшей в джеме. И пока я должен ей деньги…

— Ты не можешь бросить ее.

— Да. Хотя я не стал бы так говорить. В конце концов, она не моя девушка. Просто я хотел освободиться и не мог.

— Ты был готов использовать ее, но не намерен иметь дело с тем, что ты называешь последствиями?

— Полагаю, именно так. Не очень-то хорошо, не правда ли? Но я был тогда в полном отчаянии. Дело в том, что я не выношу ее. И все время ощущаю, что наполовину лгу ей, больше чем

наполовину. И пока эти чертовы деньги поставлены на карту…

— Думаю, ей не нужны деньги?

— Нет. Она все время твердит, чтобы я оставил их себе в подарок. Но я не могу. И дело не в морали, а в психологии.

— Это часто одно и то же. Я понимаю трудность.

— Но ты веришь мне? — спросил Лео. — Я много раз обманывал тебя. Но это правда.

— Я верю, — сказала Мюриель. Она действительно верила. — Ты заплатил ей теперь?

— Нет, — ответил Лео. — В том-то и дело. По крайней мере это то, что ты делаешь для меня, или я для тебя. Я не ожидал подобного.

— Не понимаю тебя.

— Я продумал, как сохранить деньги, чтобы заплатить долг и заставить третью сторону выкупить для меня икону, но не могу сделать этого.

— Что же останавливает тебя? Безусловно, не демон нравственности на этот раз?

— Да. Думаю, именно он. Я всегда считал, что смогу легко отказаться от морали, но это не так просто. Я не настолько свободен, как предполагал.

— Ты правда получил семьдесят пять фунтов

за икону?

— Правда. Но я собираюсь отдать их сегодня тому человеку, который… ну, человеку, который собирается вернуть мне икону.

— И от которого ты скрыл, что деньги все еще у тебя?

— Точно. Боюсь, ему придется заплатить немного больше.

— Но это благородный жест, который с твоей стороны будет сопровождаться другой подходящей ложью?

Лео изумленно посмотрел на нее, затем рассмеялся:

— Да! Во всяком случае я отдам их. О Боже! Ты довольна мной, Мюриель?

— Но ты все еще связан со своей сочувствующей пожилой дамой?

— Да. Я не могу сейчас думать об этом, но найду какой-нибудь выход. Послушай, дорогая, ты мне всерьез говорила о своей кузине?

Мюриель отвернулась от него. Перед ее взором мысленно предстала картина: душная тьма, что-то жужжит в глубине комнаты, как рой пчел. Она быстро повернулась к Лео:

— Да.

— Пойми, я не полный дурак, — сказал Лео, —

хотя часто прикидываюсь дураком, но здесь все будет в порядке. Я очень хочу познакомиться с твоей кузиной, просто познакомиться, что бы ни случилось потом, даже если ничего не произойдет. Я думаю о ней постоянно с тех пор, как ты рассказала мне, и не могу отказаться от романтических грез. Если ты позволишь мне познакомиться с ней, клянусь, я не подведу тебя и буду делать все, что ты скажешь.

— Хорошо, — сказала Мюриель.

— Ты не расскажешь мне немного о ней? Какая она?

Мюриель стиснула зубы. Внутри нее что-то завибрировало, и она, почувствовав, что вот-вот снова хлынут слезы, встала.

— Не сейчас. Как-нибудь в другой раз. А теперь я должна идти.

— Я сказал что-нибудь не то?

— Нет.

— Не сердись на меня, Мюриель.

— Я не сержусь.

— Не грусти.

Подойдя к двери, Мюриель почти споткнулась о Лео. Он опять неловко обнял ее, и она на минуту горячо прижалась к нему. Когда она вышла, то услышала голос Пэтти, все еще доносившийся из

комнаты Юджина.

Несколько минут спустя Мюриель неслышно вышла из парадной двери. На улице стояла тишина. Туман стал чуть менее плотным, и воздух наполнился снегом. Огромные мягкие белые снежинки бесшумно кружились вокруг нее и, казалось, коснувшись земли, снова поднимались и летели по воздуху, рисуя узор, от которого рябило в глазах. Они падали столь обильно, что заполнили атмосферу холодом, как густым неласковым мехом. Мюриель отбросила их от лица и, опустив голову, пошла вперед. Снег скрипел под ногами. Внезапно перед ней выросла укутанная фигура и прошла мимо, направляясь к дому священника. Она напоминала миссис Барлоу.

Мюриель быстро шла, не глядя куда, и пыталась размышлять. По крайней мере способность думать, казалось, вернулась к ней. Она подверглась сильному давлению. Карел употребил свою власть, и, хотя он не произнес особых угроз, в его силе ощущалась скрытая опасность. Но чем он мог ей угрожать? Мюриель боялась потерять связь с реальностью. У нее не было времени подумать между разговором с Карелом и встречей с Лео, и все же она инстинктивно уцепилась за возможность как-то использовать Лео. Она боя-

лась Карела, опасалась ослушаться его. Но еще больше она боялась чего-то другого — изоляции, паралича воли, превращения мира в нечто маленькое, сонное и огороженное, как внутренняя часть яйца. Ей казалось, будто Карел пытался вовлечь ее в какой-то дьявольский заговор или, скорее, загипнотизировать ее, привив чувство неизбежности. Ей нужна была резкость, даже абсурдность Лео, чтобы убедить себя в своем собственном независимом существовании.

Но почему она думала о словах Карела как о дьявольском заговоре? Если это и был заговор, то она в нем давно участвовала. Она никогда не сомневалась в том, что Элизабет больна и нуждается в защите от потрясений окружающего мира. Она была главной защитницей Элизабет от этих потрясений, и сама намеренно создала тот будуар, в котором теперь Элизабет казалась такой пугающе сонной и оцепеневшей. Все это воспринималось как необходимость. Доктора приходили и уходили, качали головами, предостерегали против напряжения и рекомендовали полный покой. Элизабет была инвалидом и вела жизнь больной. Что здесь таинственного?

«Почему я не могу относиться ко всему этому проще?» — размышляла Мюриель. Возможно,

Элизабет и должна вести такую тихую жизнь. Но почему она так изолирована от людей? Карел внес какую-то путаницу в отношения, и теперь нужно все расставить по местам. Это не такое уж не допускающее никаких отступлений дело. Почему бы Мюриель не пойти к отцу и твердо и прямо не заявить ему о своем мнении — Элизабет нужно общество и почему бы для начала не познакомить ее с Лео Пешковым? В предложении не было ничего ужасного. Так почему ей тотчас же показалось, что было?

Вот что ей нужно сделать — объяснить все Юджину. Он здесь, он благоразумный, и мысль о том, чтобы привлечь его, успокаивала. Но одобрит ли он идею познакомить Лео с Элизабет? А почему бы и нет? Однако самой Мюриель осуществить этот план теперь казалось так же дико, как, например, разбить зеркало. Разумному постороннему человеку эта идея показалась бы вполне обычной. Хотя, чтобы посторонний действительно понял ситуацию, не придется ли его слегка заразить своим мрачным восприятием событий? Но удастся ли ей это? Не угаснет ли тогда тот огонь и не покажется ли совершенно нереальным? Может, он действительно не настоящий? «Я должна поговорить с Юджином», — сказала себе

Мюриель. Но, воображая свою беседу с ним, она представляла себя заключенной в его объятия.

— Мюриель!

Мюриель отпрянула, поскользнулась и чуть не упала с тротуара. Рядом с ней в коричневато-белом вихре снегопада стояла какая-то фигура. «Где я?» — было первой мыслью Мюриель. Она брела наугад, и теперь кто-то окликнул ее по имени.

— Мюриель…

Мюриель узнала Нору Шэдокс-Браун.

— А, привет…

— Моя дорогая девочка, какая удача, что я встретила тебя. Я как раз собиралась зайти к вам. Этот коричневый демон у дверей всегда говорит, что тебя нет. На этот раз я намеревалась назвать ее лгуньей, и надо же, встретила тебя!

— Да… — сказала Мюриель. Она ощущала себя настолько отрезанной от Шэдокс, столь безразличной и неспособной понять ее, что, казалось, едва ли стоило отвечать.

— Мюриель, я хочу серьезно поговорить с тобой.

— Все это не имеет значения, — сказала Мюриель. Ей хотелось поскорее отделаться от Шэдокс, но у нее не было сил что-то выдумывать.

— Что ты сказала? Послушай, нет смысла стоять

здесь в такой снегопад. Кажется, ты умираешь от холода. Надеюсь, ты не спешишь? Отсюда недалеко до моего дома. Мы сможем дойти за пять минут. Быстрая ходьба согреет нас. И никаких разговоров по дороге! Идем быстрым шагом!

Нора просунула руку под локоть Мюриель и потянула за собой. Их ботинки проваливались в снег. Хлопья, как холодная вата, залетали в их тяжело дышащие рты. Говорить в любом случае было невозможно.

В первый момент Мюриель слабо посопротивлялась.

Мысленно тяжело вздохнув, она с возмущением ощутила, как рука Норы сжала ее локоть и ее бедро прижалось к ней. Затем ей стало все равно, и она позволила потащить себя вперед. Она даже закрыла глаза и впала в своеобразный транс.

— Вот мы и пришли. Вверх по ступеням. Я обитаю наверху. Внизу никто не живет. Но ты же была здесь прежде.

Мюриель действительно была здесь однажды по случаю, который предпочитала не вспоминать — тогда Шэдокс пыталась убедить ее поступить в университет.

Внезапное тепло гостиной почти причинило боль. Постепенно отогревающиеся ноги ломи-

ло, а прикосновение пламени, казалось, обвело контуром ее лицо. Машинально Мюриель сняла пальто и шарф и положила их на стул. С трудом стянула с себя перчатки. Руки окоченели и побелели от холода. Она засунула одну руку под мышку и крепко сжала, будто ожидая услышать, как она сломается. Ее руки болезненно ныли, Мюриель поняла, что готова снова заплакать. Она почувствовала, как слезы наполняют глаза. Что бы ни произошло, она не должна плакать в присутствии Шэдокс. Подойдя к окну, она хрипло откашлялась в носовой платок.

— Ну и денек! — воскликнула Нора. — Садись, Мюриель. Я думаю нам обеим необходимо, подкрепиться! Я заварю нам кофе. Извини, я покину тебя на минуту.

Мюриель продолжала стоять, вытирая лицо носовым платком и глядя на непрекращающийся снегопад. Снег заполнил воздух так, что отдельных снежинок не было видно; он напоминал огромное курчавое белое одеяло, которое медленно встряхивали за окном. Снова открылась дверь, и звякнул поставленный на стол кофейный поднос.

— Ты выглядишь как беженка, дитя мое! Садись, пожалуйста, и расскажи, как у тебя дела.

Тебе следовало ответить на мое последнее письмо, не правда ли? Это было бы вежливо.

— Извините, — сказала Мюриель. Она вернулась к огню и села. — Но я была так подавлена с тех пор, как приехала в Лондон. — Ей не следовало говорить так. Это было как раз то, чего ожидала Шэдокс.

Нора минуту-другую молчала, изучая Мюриель, затем сказала:

— Думаю, тебе лучше рассказать мне обо всем. — Мюриель огляделась. Гостиная Шэдокс осталась точно такой же, как она ее помнила. Огонь пылал на каминной решетке, отбрасывая блики на большой каминный прибор с медными ручками. На каминной полке стояли белые фарфоровые чашки с элегантным цветочным узором. Белые деревянные книжные полки разместились в нишах. Книги Норы, все еще в суперобложках, казались такими же чистыми и аккуратными, как и ее фарфор. Цветистый мебельный ситец на стульях слегка поблек и приобрел приятный, как бы присыпанный пудрой оттенок. Превосходные репродукции современных французских художников висели на стенах. Обои были покрыты крошечными розочками. Мюриель с изумлением обнаружила, что вздохнула с облегчением.

Она посмотрела на Шэдокс. Та тоже не изменилась. Шэдокс никогда не менялась. Она выглядела точно так же, как все те годы, что Мюриель знала ее. Блестящие серебристо-серые прямые волосы обрамляли покрытое морщинами доброжелательное лицо ровного смуглого оттенка. Ее энергичный рот и проницательный, уверенный взгляд Мюриель когда-то не выносила. Доброта Шэдокс казалась ей сентиментальной и навязчивой, а уверенность — слепой верой в устаревшие ценности. Теперь у Мюриель возникло ощущение, что сама она внезапно постарела, а Нора в ее воображении оставалась спасительно простодушной.

— Я немного беспокоюсь об отце и кузине, — сказала Мюриель.

— Меня это не удивляет. Твой отец — трудный человек. И у Элизабет исключительно утомительное заболевание. Вот, выпей кофе. Расскажи мне, как дела.

— Трудно сказать, — начала Мюриель. — Признаюсь, я совершенно выбита из колеи. Конечно, Элизабет больна, она не может никуда ходить, ей нельзя поднимать тяжести и так далее. Но мне кажется, отец все преувеличивает. Он склонен держать ее взаперти и слишком бо-

лезненно относится к ее посетителям. Я думаю, Элизабет следует видеть больше людей.

— Я совершенно согласна и всегда придерживалась такой же точки зрения. Конечно, твой отец довольно нервный, не так ли? Это человек, который не любит никаких посетителей. Думаю, он вообще ненавидит посторонних в доме.

— Да, — согласилась Мюриель. Раньше ей не приходило в голову такое простое объяснение нежеланию Карела пускать кого-либо навещать Элизабет.

— Я знаю множество подобных людей. Особенно скверно, когда мизантропия родителей наносит ущерб детям! Конечно, нужно соблюдать такт. А как сама девочка? Я имею в виду моральное состояние.

— Неплохо. Меня изумляет, как жизнерадостно она со всем мирится. Только в последнее время она выглядит немного усталой и апатичной.

— Это отвратительное время года, к тому же, я полагаю, наступила реакция после переезда. Естественно, ей нужны какие-то перемены, развлечения, и, конечно, больше всего ей нужны друзья-мужчины.

— Я подумываю познакомить ее с Лео Пешковым, — Мюриель сказала это с таким чувством,

будто произнесла богохульство в скрытой форме. Слова напоминали ругательство, произнесенное на иностранном языке.

— Превосходная идея, — согласилась Нора. — Он еще там? Этот молодой человек не оправдывает больших ожиданий, он не слишком энергичный, но очень милый, и нельзя желать никого более безобидного.

— Сомневаюсь, что мой отец подумает так же, — сказала Мюриель.

— Черт возьми, почему твой отец станет возражать? Если тебя интересует мое мнение — он невротическое, эгоистичное, замкнутое и самовлюбленное существо. Очень хорошо знакомый тип мужчины. Надеюсь, ты не станешь возражать против моих слов, ведь нужно называть вещи своими именами. Тебе следует соблюдать твердость в отношениях со своим отцом. Ты все еще его немного побаиваешься, не так ли?

— Да, — призналась Мюриель. Она смотрела на ослепительный огонь и потирала пальцами уголки глаз.

— Сколько тебе лет, Мюриель, дитя мое?

— Двадцать четыре.

— Не пора ли тебе перестать бояться отца?

— Да… — сказала Мюриель.

В конце концов все оказалось так просто, никаких кошмаров, Элизабет немного одинока. Естественно, ей необходимы перемены, развлечения. Карел — скучный невротик, ненавидящий посетителей. Но Элизабет нуждается в обществе молодых людей. Лео Пешков довольно мил и совершенно безвреден. Мюриель должна быть твердой с отцом. Карел — эгоистичный, замкнутый, самовлюбленный человек, тип мужчины, хорошо знакомый. Мюриель следует просто быть твердой с ним. Ей уже двадцать четыре года, и пришло время перестать бояться своего отца. Все было очень просто и заурядно.

— Не плачь, Мюриель, — сказала Шэдокс. — Ничего страшного. Все будет хорошо. Пей кофе. Все будет хорошо, дитя мое.

Глава 14

Юджин Пешков проснулся с сознанием, что произошло нечто странное, волнующее и удивительное. Он лежал в полудреме, приоткрыв глаза, в пещере своей нижней койки и размышлял, что бы это могло быть. Повернувшись и приподнявшись на локте, он протер глаза и тогда понял, что в помещение проник солнечный свет. Он как будто выбелил комнату, она стала светлее и даже казалась больше, словно поднялась и раскрылась навстречу атмосфере. Небо, видневшееся через высокое окно, было ясным и таким трепетно-сияющим, что казалось не голубым, а лазурным и сверкающим, как алмаз. Свет был таким знакомым, его звенящая бледность заставила затрепетать все тело Юджина от пронзительного физического ощущения, которое едва ли можно было назвать памятью. Он соскочил с постели и надел халат. Затем, придвинув стул к стене, взобрался на него и выглянул в окно.

Туман рассеялся, и с голубых обжигающих холодом небес солнце лило свой свет на обширную поверхность неисхоженного снега. Строительная

площадка превратилась в огромное снежное поле, за которым открывался вид на покрытые снегом купола и шпили, сверкающие при ярком прозрачном свете.

Душевное волнение, приведшее в трепет тело Юджина, стремительно переместилось в желудок, и он поспешно соскочил со стула. Первое, на что упал его взгляд, была расписная русская шкатулка. Он все еще не мог вспомнить, с чем ассоциировалась эта вещь, причинившая ему такую боль. Должно быть, подобная шкатулка сыграла определенную роль в его детстве. Наверное, она имела какое-то отношение к его матери или сестре. Он положил руку на шкатулку, надеясь, что прикосновение сможет что-то подсказать, но ничего не произошло, только невыразимой боли добавилось к волнению, вызванному солнечным светом. Юджин быстро оделся. Он встал поздно и слышал, как Пэтти уже что-то делает на кухне, тихонько напевая. Даже в доме звуки сегодня раздавались по-другому, будто они парили высоко в воздухе, — тоньше, чище, как хрустальные отголоски снега. И это тоже он чувствовал всеми своими мускулами.

Накануне Юджин лег в постель в полном отчаянии. Потеря иконы была для него просто болью,

ударом, а известие, что это зло причинил его сын, стало потрясением другого рода. Оно заставило его стать не только жертвой, но и участником, глупым и нелепым. Теперь он понял, насколько его благополучие зависело от покоя, порядка и внутренней инертности, ему было необходимо притупить сознание жестокости в отношении человека к человеку. Не был ли его стоицизм, в конце концов всего лишь покорной забывчивостью? Он мог примириться с чем-то простым, что можно было переносить пассивно, так же, как пассивно он воспринимал произошедшую в прошлом катастрофу всей своей жизни. Но поступок Лео был личным выпадом, который пронзил его и принес с собой ужасные воспоминания прошлого. Те события в свое время тоже причинили ему боль и унизили его. А затем это отвратительное вторжение мисс Мюриель, сцена, свидетельницей которой она стала, и ее слова. Чувство защищенности у Юджина было поколеблено так же, как и столь необходимое ему чувство собственного достоинства, декорум, который защищал его от обезьяньей расы англичан и делал его выше них. Теперь он ощущал себя униженным.

Как бы то ни было, это произошло вчера,

до великого явления солнца и снега. Теперь Юджин чувствовал себя обеспокоенным, взволнованным, но намного лучше, чем вчера. Он рассматривал себя в зеркальце для бритья, с тех пор как приехала Пэтти, он брился каждый день. Юджин пригладил круто изгибавшиеся усы, густые над губой и суживающиеся, как проволочка, на концах. Они были рыжевато-коричневыми, такими же были когда-то волосы. Теперь, присыпанные сединой, они все еще лежали волной вокруг небольшой лысины, достаточно густые, чтобы скрыть ее, если только ветер не дул в определенном направлении. Он рассматривал волосы спереди. Кажется, они становятся немного реже. Он с сожалением кашлянул, глядя на свое отражение в зеркале, и поспешил из своей комнаты в кухню.

— Пэтти, посмотрите. Не правда ли, замечательно?

— Замечательно! Все так изменилось.

— Давайте поскорей выйдем. Вы уже отнесли наверх его завтрак, не так ли?

По какой-то причине Юджин не мог произнести имени священника.

— Да. Не хотите ли яйцо?

— Нет, нет, не сейчас. Давайте выйдем. Возь-

мите пальто.

— Не знаю, следует ли мне…

— Пойдемте. Я покажу вам реку, покажу вам снег.

Через несколько минут они уже шли по снегу, и длинные тени протянулись за ними. Снег на строительной площадке был неутоптанным, подмороженным и ломким, так что их ботинки с хрустом разбивали корку. Низкое яркое солнце скользило наискось по снегу, отбрасывая небольшие голубые волнообразные тени и заставляя кристаллы снега сверкать так ярко, что Пэтти все время останавливалась, вскрикивала и не могла поверить, что это не драгоценности разбросаны под ногами. Воздух дрожал от яркого света, и тело Юджина ныло от воспоминаний.

На нем была старая полушинель, настолько тесная, что ему казалось, будто он облачен в гипсовую форму. На Пэтти было серое пальто, скорее всего из меха кролика, а вокруг головы повязан красный шерстяной шарф. Ее черные волосы, начавшие немного виться, как рюшем обрамляли ее круглое коричневое изумленное лицо. Она шла немного робко, словно опасаясь разбить твердую корку застывшего снега, которую теперь позолотило солнце, и она казалась запеченной.

Пэтти часто оборачивалась, чтобы посмотреть на их следы. Снег ниже поверхности выглядел более голубым. Она смотрела на Юджина ошеломленно, с веселым удивлением. Юджин тоже смеялся. Пар от его дыхания, замерзая на усах, сделал их жесткими и приятно щекочущими. У него слегка кружилась голова от света и открывшейся огромности минувшего. Он положил руку на плечо Пэтти:

— Солнце вам к лицу. Забавно, но я продолжаю думать, что вы никогда прежде не видели снега.

— И мне кажется, что никогда не видела.

— Конечно, это не настоящий снег.

— Настоящий, — возразила Пэтти.

После минутного раздумья Юджин согласился:

— Да, вы правы.

Он чувствовал себя безумным и счастливым. Он держал руку на ее плече, направляя ее.

— Где река? Я все еще не видела ее.

— Я покажу вам. Я покажу вам реку. Я покажу вам море. Они вышли на улицу, где снег был немного притоптан и где волнистые белые борозды украсили тонким узором темно-красные кирпичные стены. Мимо прошло несколько человек, закутанных в пальто и шарфы, с напряженными, изумленно улыбающимися лицами. Юджин

и Пэтти зашли за угол, миновали небольшой трактир и вышли на набережную, перед ними открылся изгиб огромной быстро бегущей реки, наполненной до краев. Стальная голубовато-серая поверхность ее была покрыта чешуйками золотистых крапинок, а позади высились очертания башен, куполов и шпилей, четких и ясных на фоне бледно-синего неба, напоминающего голубой камень, который до блеска отполировали.

— О! — воскликнула Пэтти.

Они немного постояли, глядя, как бежит вода. Пристань была полностью в их распоряжении.

— Какая быстрая.

— Да, течение сильное.

— И такая огромная.

— Потому что близко море.

— В какой стороне море?

— Там. Мы скоро туда поедем.

Юджин прислонился к гранитной стене причала. Снег, сухой и почти теплый, слегка припудрил рукава его пальто. Он снял перчатку и с удовольствием почувствовал укус воздуха на своей руке. Он сгреб немного снега и провел пальцами по твердому краю гранита. Сильный отраженный свет, ощущение плотного камня, быстрое движение широкой реки, сверкающая арка зданий у

линии горизонта — все это ошеломило и привело его в состояние восторга. Он почувствовал себя центром какой-то чистой и прозрачной системы, бесконечно вращающейся, бесконечно неподвижной. В этой прозрачной вселенной не было места, где могла бы укрыться тьма. Он сказал:

— Пэтти, я настолько переполнен радостью, что едва понимаю, где я.

Юджин взял горсть снега, легкого, почти нематериального, и повернулся к Пэтти. Она, улыбаясь, смотрела на него, тоже ошеломленная. На ее коричневых щеках от холода загорелись темно-красные огоньки. Лицо, обрамленное волосами, подвязанными шарфом, выглядело круглым, пухлым, по-детски милым и аппетитным, как созревший плод. Юджин поднял руку, приложил горсть снега к ее щеке и почувствовал своей холодной ладонью ее тепло. Белизна как будто сахарной пудрой присыпала ее горящую кожу. Она была коричневой, теплой и смеялась, стоя рядом с ним.

— О! Он течет у меня по шее.

— Снимите перчатку, — предложил он. — Вы должны почувствовать снег. Не холодно. Ну вот.

Он заключил ее руку без перчатки в свою и медленно погрузил их сплетенные руки в снег на

гребне гранитной стены. Ему хотелось увидеть ее коричневую кожу на белом фоне.

— О, холодно!

— Восхитительно.

— Как холодный сахар.

— Пэтти, я чувствую себя так странно и хорошо. Вам тепло? Мне бы хотелось спрятать вас в мое пальто, как котенка!

— Я бы стала мурлыкать!

— Позвольте мне согреть вас.

Он неловко обнял ее. Его пальто разделяло их, как доска. Он немного распахнул его и попытался привлечь Пэтти поближе. Ее руку, которую все еще продолжал держать, он спрятал себе под мышку, и она уцепилась за ткань его куртки. Отогнув подбородком воротник, он обхватил ее за талию и придвинул поближе между полами пальто. Он держался за скользкий неровный мех, притягивая его. Это было неуклюжее объятие. Утонув в одежде, они стояли лицом к лицу, не способные приблизиться достаточно близко друг к другу. Пэтти смотрела мимо него, ее щека была влажной там, где растаял снег. Его тело обдало холодным воздухом. Затем Пэтти передвинулась и протиснулась бочком внутрь его пальто. Он ощутил тепло и вес ее склонившегося тела. С

тихим вздохом она прижалась лицом к его плечу. Шарф сполз назад, открывая поток вьющихся иссиня-черных волос. Юджин поднял руку, поправил их и сказал:

— Я люблю тебя, Пэтти.

Она приглушенно, уткнувшись в его пальто, ответила:

— Я тоже тебя люблю.

Юджин застонал и попытался обхватить рукой ее меховое пальто. Они передвинулись и обрушили снег с гранитной стены себе в ботинки. Пэтти выпустила из рук его куртку и повисла на нем всей своей тяжестью, прижалась к нему, как падающая колонна, и он всем телом от груди до колен ощутил ее тепло. Он обхватил ее за плечи, не способный ни двигаться, ни видеть. Прошло время. Затем непроизвольным движением ее голова постепенно поднялась, как будто медленно распрямилась пружина, и его лицо склонилось над нею. Он поцеловал изгиб щеки, куда прикладывал снег, и стал искать ее губы. Прошло еще немного времени, прежде чем он нашел их. Пэтти попыталась осторожно высвободиться.

— Боже мой, — прошептала она.

— Моя дорогая, — сказал Юджин.

— Мне так жаль, — сказала Пэтти.

— О чем ты жалеешь?

— Мне не следовало бы…

— Почему? Успокойся, Пэтти, мы не дети.

— Это неправильно…

— Ну так давай все исправим. Ты выйдешь за меня замуж, Пэтти?

— О…

— Не расстраивайся, дорогая. Это просто предположение. Мы обсудим его, не правда ли? Не стоит торопить друг друга, Пэтти, пожалуйста…

— Ты не можешь жениться на мне, — сказала Пэтти, — это невозможно.

Она отстранилась от него и стояла, глядя на быстро бегущую реку, неосознанно сжимая и растирая свои замерзшие без перчаток руки.

— Ты выглядишь такой несчастной. Не грусти. Конечно могу. А почему бы и нет? Я понимаю, это все неожиданно… И знаю, я не очень-то…

— Не в этом дело. Ты замечательный. Но ты не знаешь… О, ты не можешь хотеть этого. Я недостаточно хороша.

— Не будь глупышкой.

— Я… ну, я цветная… и я…

— Пэтти, дорогая, не говори ерунды. Я с таким же успехом могу сказать тебе, что я русский. Мы два особых существа, оба изгнанники, оба оди-

нокие, и мы нашли друг друга. Ты сделала меня счастливым, я очень изменился с тех пор, как ты появилась в доме, ты должна знать это. Наверное, я кажусь безнадежным сломленным «типом». Но я могу все изменить. Я не глуп и смогу зарабатывать намного больше, если захочу. Мы будем жить в собственном доме…

— Не надо… — взмолилась Пэтти. Она на минуту закрыла лицо, затем придвинулась к нему, засунув руки в карманы, и положила голову ему на плечо. — Я люблю тебя, люблю тебя.

— О Пэтти, я так рад. Извини, что напугал тебя. Ни о чем не беспокойся, у нас еще много времени, мы все обдумаем. Я хочу доказать тебе, что я могу зарабатывать деньги…

— Деньги не имеют значения.

— Хорошо, подумай обо всем этом, Пэтти. Если мы действительно любим друг друга…

— Но ты не можешь любить меня.

— Пэтти, прекрати.

Он крепко прижал ее к себе, спрятав подбородок в жесткие черные волосы.

Пэтти снова оттолкнула его. Она надела перчатки и поправила шарф. Ее лицо слегка подрагивало, и зубы стучали. Она сказала:

— Ты… оставайся здесь, а я вернусь назад.

— Позволь мне пойти с тобой.

— Нет, ты останешься здесь. Я хочу, чтобы ты остался. Утаи это ради меня на время. Я сама найду дорогу.

— Но ты подумаешь над тем, что я сказал?

— Конечно подумаю. Спасибо тебе… Спасибо…

Она повернулась с каким-то особым неловким достоинством и по-кошачьи осторожной походкой стала медленно удаляться. Закрыв глаза, Юджин слушал звук ее удаляющихся шагов. Когда он снова посмотрел, ее уже не было видно.

Он моргнул, осмотрелся. Казалось, будто он только что вышел из маленькой комнаты, из замкнутого пространства, настолько происшедшая сцена отделила его от окружающего. Пристань по-прежнему была пустынной, и только их с Пэтти следы прочертили толстый слой снега на ней. Он смотрел на широкую реку, глубоко дыша, у него снова закружилась голова, как будто он танцевал на снегу, вальсируя так быстро и легко, что его ноги даже не сломали белой морозной корки.

Какое-то новое ощущение поселилось в его теле, новое или очень старое. Он почувствовал, как оно нахлынуло на него, и откинул голову, словно исступленный пловец, встречающий волну. Он узнал чувство, имя которому — счастье.

Да, он женится на Пэтти, он снова будет жить в своем доме.

Вглядываясь в очертания на фоне неба, он видел позолоченные купола и шпили, сверкающие на солнце, бледное белесое золото, переходящее в огромные короны из снега. Окрашенные многоколонные фасады, синие и терракотовые, под переменчивым снежным узором протянулись вдоль бесконечных набережных, каждое окно со своим высоким снежным гребнем, каждая капитель прочерчена причудливыми белыми арабесками. Он смотрел на длинный невысокий город над огромной застывшей рекой. Для него светило солнце с неба цвета ляпис-лазури на мрачные стены крепости, на полосатые башенки Воскресения, на широкий позолоченный купол Святого Исаакия, на вставшего на дыбы бронзового Петра и на стройную, четкую стрелу шпиля Адмиралтейства.

Глава 15

«Если бы умирание, как бытие, подходящее к концу, было бы понятно в том значении смерти, которую мы обсуждали, тогда Дасейн вследствие этого можно было бы трактовать как нечто уже присутствующее или находящееся под рукой. Дасейн не завершается смертью, так же как и не исчезает полностью, не заканчивается и не предоставляется полностью в чье-то распоряжение. Напротив, так как Дасейна еще нет и это «еще нет» продолжается постоянно, пока он существует, и это у оке тоже его конец. Развязка, которую мы имеем в виду, когда говорим о смерти, не имеет значения для прихода к концу Дасейна, но бытие, направляющееся к концу, — его реальная сущность. Смерть — способ существовать, который Дасейн принимает на себя, как только возникает. Умирание, как бытие, направляющееся к концу, должно быть уяснено онтологически с точки зрения

способа бытия Дасейна. И вероятно, возможность существующего бытия, этого «еще нет», которое предшествует концу, станет понятным, только если характер конца определен экзистенциально. Экзистенциальное выяснение понятия бытия, направляющегося к концу, также даст нам адекватный базис, чтобы определить значение нашей беседы о целостности Дасейна, если действительно в результате смерть послужит основанием этой целостности».[13]

Пэтти, прибиравшая комнату Карела, прочитала эти слова в книге, открытой на его столе. Вернее, они не были прочитаны, так как ничего не значили для нее. Эти слова звучали бессмысленно и зловеще, как отдаленный гул какой-то ужасной катастрофы. Может быть, таким выглядел мир, когда люди были интеллектуальными и достаточно умными, чтобы увидеть его во всей его реальности? Может, под внешней видимостью все было именно так?

Она отложила щетку и совок для мусора и подо-

---

[13] Примечания: 13
Цитата из книги Хайдеггера «Бытие и время».

шла к окну. Под домом громыхал поезд. К ним она все еще не привыкла. Она подтянула свою твидовую юбку. Застежка сегодня утром сломалась, а английская булавка, которая поддерживала ее, расстегнулась. Было время после полудня, подернутое дымкой, красноватое солнце сияло между светлых полосок облаков. Вдали на снегу Пэтти увидела удаляющуюся фигуру миссис Барлоу, которую несколько минут назад она прогнала от дверей. Снежное поле строительной площадки окрасилось в сахарно-розовый цвет, и шпили городских строений вдали, сильно затененные с одной стороны и освещенные — с другой, вздымали к небу нагромождение кубов и конусов. Пэтти чихнула. Не заболевает ли она? Карел терпеть не мог, когда она простужалась. Возможно, это просто пыль.

Весь день Пэтти избегала Юджина. Это было не трудно, так как и сам он из деликатности или от избытка счастья не искал встречи с ней. Время проходило в такой мешанине радости и отчаяния, что в конце концов она уже не могла понять, где кончается одно и начинается другое. Она не ожидала, что полюбит Юджина. Но теперь поняла, что полюбила и любит его совершенно особым образом, хотя считала это невозможным

для себя.

И в то же время она любила Карела и не могла больше никого любить, даже не помышляла об этом, как о чем-то абстрактном. Ее бытие столь тесно переплетено с Карелом, что ничто постороннее не могло туда проникнуть, там было слишком плотно и темно. Она спаяна с ним такими прочными узами, что называть их любовью в ее представлении было нельзя. Она была Карелом.

Что же произошло тогда этим утром? При солнечном свете и сверкающем снеге к ней пришло какое-то безумие, внезапная изумительная свобода. Черные годы как будто упали с ее сердца, и она снова ощутила свободное стремительное движение к другому, что побуждает каждого из нас наиболее полно раскрыть себя. И действительно, в ней словно пробудилась новая личность, в своем приближении к Юджину она обретала завершенность — ни одна ее частица не обитала где-то поодаль. Из глубин ее темного оцепенелого существа возникло что-то чистое и манящее. Ее радость, вызванная любовью Юджина, ее восторг от ожившей возможности любить, оставались в ней нетронутыми весь день. Но разве это возможно?

Чистота, которую она оценила в Юджине, прежде чем хорошо его узнала, теперь засияла вокруг него в полном великолепии. В этом человеке отсутствовали тени. Он любил ее просто, верно и предлагал ей чистую жизнь. А еще он желал ей счастья, она почувствовала, вдохнула это сегодня утром. Счастье было заключено в Юджине, как и во всех безупречных людях, и нужно только прикоснуться, чтобы оно полилось полным потоком. Оно нахлынуло на нее, и это, пожалуй, больше всего сводило ее с ума весь день. Она чувствовала, что может быть счастлива с Юджином. Она могла бы стать его законной женой, носить золотое обручальное кольцо и жить с ним в чистоте. Быть замужней, обычной и любить невинной любовью.

Это было вполне возможно. И в то же время совершенно невозможно. «Я не смогла бы рассказать Юджину о Кареле, — подумала она, — он отшатнулся бы от меня в ужасе, если бы узнал». Вопрос о том, чтобы рассказать, даже не вставал. «Я все еще любовница Карела?» — спрашивала себя Пэтти и отвечала положительно. Все еще в любой момент, и так будет всегда, Карел мог уложить ее в свою постель, если бы захотел. У нее не было иной воли — только его. Карел был

ее судьбой. Правда, она иногда представляла, будто покидает его, рисовала искупившую вину Пэтти, ведущую смиренную, полную служения людям жизнь. Но это была пустая мечта, она ощутила теперь контраст между воображаемыми ею картинами и резкой, легко узнаваемой болью реальности. Реальные возможности оказались несовместимы, противоположными по сути, и ей нужно было как-то научиться с ними жить.

«Но я люблю его», — сказала себе Пэтти, как будто такая простота могла спасти ее.

— Пэттикинс.

— Да. — Пэтти поспешно отвернулась от окна.

— Ты еще не закончила?

— Только что закончила.

— Ты не нашла следов мышей?

— Нет.

— Странно. Я уверен, что видел их.

Чувство вины сдавило и овладело всем существом Пэтти, она почувствовала, как вспыхнула темным румянцем, как будто вся чернота ее крови восстала, чтобы обвинить ее.

— Не уходи, Пэтти, я хочу поговорить с тобой.

На Кареле были темные очки. Два блестящих овала смотрели непроницаемо, отражая розовый свет и многочисленные городские башенки. В

отдалении зазвенел колокольчик Элизабет, позвенел недолго и замолк.

— Пэтти, задерни, пожалуйста, занавески. Я не переношу этот ослепительный блеск снега.

Пэтти задернула занавески.

— Поаккуратнее, пожалуйста. Все еще проникает немного света.

На мгновение комната погрузилась в полную тьму. Затем Карел включил лампу на столе. Он смотрел на Пэтти своими огромными темными как ночь глазами, затем снял очки и потер лицо. Стал ходить взад и вперед по комнате.

— Не уходи. Присядь где-нибудь.

В комнате было очень холодно. Пэтти села на стул у стены и смотрела, как он ходит. Она заметила, что он босиком. Сутана колыхалась от его быстрых шагов, и при каждом повороте, когда он приближался к ней, касалась грубой лаской ее колена. Теперь Пэтти казалось невозможным, чтобы Карел не знал о ее связи с Юджином, не знал всего, что происходит в ее мыслях. Его присутствие, как внезапное нападение каких-то темных необъяснимых сил, схватило ее в когти и подчинило себе все ее существо. Она закрыла глаза, и что-то, скорее всего ее душа, отделилось от нее и упало к босым расхаживающим ногам.

— Пэттикинс.

— Да.

— Я хочу серьезно поговорить с тобой.

— Да.

Пэтти засунула два пальца в рот и впилась в них зубами.

— Давай заведем музыку. Поставь, пожалуйста, сюиту из «Щелкунчика».

Пэтти подошла к патефону и поставила пластинку негнущимися руками. Должно быть, он знает о Юджине.

— Заведи его как следует. Вот так.

Карел продолжал ходить. Он подошел к окну и выглянул через щель в занавесках. Закат, как розовый фламинго, моментально прочертил мрак комнаты.

Карел поправил занавеску и снова повернулся к полутьме. Затем, не глядя на Пэтти, он начал с мечтательным видом расстегивать сутану. Тяжелая черная материя разошлась, как очищенная фруктовая кожура, обнажив белоснежный треугольник. Карел высвободил плечи, и темные одеяния с легким шелестом упали на пол к его ногам. Он перешагнул через них. Под сутаной была надета только рубашка. Пэтти помнила этот порядок и задрожала.

— Пэтти, подойди сюда.

— Да.

Карел сел за свой стол на стул, немного развернув его. Одетый в рубашку, он выглядел совсем другим — стройным, молодым, ранимым, — Пэтти едва могла выносить это.

— Сюда. Встань на колени. Я хочу выслушать твой катехизис.

Пэтти встала перед ним на колени. Она не могла удержаться, чтобы не коснуться его. Прикоснувшись к его колену и узкой голени, она застонала, склонила к нему голову и обняла ноги.

— Ну, Пэтти, ты должна слушать меня внимательно.

Он мягко оторвал ее от себя, и она откинулась на коленях назад, вглядываясь в его лицо, которое видела неотчетливо.

— Как тебя зовут?

— Пэтти.

— Кто дал тебе это имя?

— Вы дали.

— Да, полагаю, я действительно твой крестный отец, твой отец в Боге. Ты веришь в Бога, Пэтти?

— Да, думаю да.

— И ты любишь Бога?

— Да.

— А ты веришь, что Бог любит тебя?

— Да.

— Оставайся с этой верой. Она для тебя.

— Останусь.

— Твоя вера много значит для меня. Хотя это и странно. Ты христианка?

— Надеюсь.

— Ты веришь в догму искупления?

— Да.

— Ты понимаешь догму искупления?

— Не знаю. Я верю в нее, но не знаю, понимаю ли.

— Ты хорошо отвечаешь. Ты бы согласилась быть распятой ради меня, Пэтти?

Она подняла глаза на полузатененное лицо. Обычно защищенное чрезмерной холодностью, лицо Карела сейчас казалось открытым, как будто затвердевшая корка спала с него. Оно было обнаженным, влажным и свежим, выражение с необычайной силой сконцентрировалось в глазах, ставших огромными и пристальными. Карел казался Пэтти прекрасным, смягчившимся, молодым.

— Да, — сказала она. — Но я не знаю, что вы имеете в виду.

— Будет суд, Пэтти, будет боль.

— Я могу вынести боль.

— Выноси ее с устремленными на меня глазами.

— Я вынесу.

— Может, ты сотворишь для меня чудо, кто знает.

— Я сделаю все, что смогу.

— Мы прошли долгий путь вместе, Пэтти, звереныш. Ты никогда не оставишь меня, правда?

Пэтти задохнулась от волнения, она едва смогла вымолвить:

— Нет, конечно нет.

— Что бы я ни делал, кем бы ни стал, ты не оставишь меня?

— Я люблю вас, — сказала Пэтти. Она снова опустилась к его ногам, обхватив его колени и прижавшись к ним головой. Она чувствовала, как ее слезы льются на него. На этот раз он не отстранил ее, а так нежно погладил по голове, что она едва ощутила его прикосновение.

— Женщине хотелось бы считать, что любовь может все, это ее особый предрассудок. Но возможно, это не предрассудок. Любовь может все, Пэтти?

— Думаю, да, надеюсь, да.

— Тогда будь верна своей любви.

— Буду.

— Пэтти, мой темный ангел, я хочу приковать тебя цепями, которые ты никогда не сможешь разбить.

— Я прикована.

— Я хотел обожествить тебя, но не смог. Я хотел сделать тебя своей черной богиней, своей антидевой, моя Anti-maria.

— Я знаю, я была недостаточно хороша…

— Ты была безгранично хороша. Ты моя леденцовая фея. Счастлив тот мужчина, который обладает леденцовой феей и лебединой принцессой.

— Хотелось бы мне быть лучше…

— Дурочка ты, Пэтти, милая, милая дурочка кофейного цвета. Ты принадлежишь мне, правда?

— Да, да, да.

Руки Карела опустились ей на плечи и слегка надавили на них. Он наклонился вперед и, выключив свет, соскользнул со стула и опустился на пол. Пэтти застонала, ослабила объятие и откинулась назад, окутанная тьмой. Она почувствовала, как его руки неловко пытаются расстегнуть застежку ее блузки.

— Привет тебе, Пэтти, исполненная благодати. Господь Бог с тобой, благословенна ты среди

женщин.

Глава 16

— А если она закричит?

— Она не закричит.

Мюриель и Лео стояли лицом к лицу в спальне Мюриель. В комнате было темно и холодно. Солнце сегодня не сияло. Мюриель села на кровать. Ее подташнивало от волнения и дурных предчувствий.

Как она приняла решение привести Лео к Элизабет — Мюриель до сих пор не могла понять. Разумеется, Шэдокс без колебаний дала ей такой совет, считая это вполне обычным проектом. Она вернулась к этой теме в конце разговора, во время которого она уговаривала Мюриель пересмотреть свое решение насчет университета. Под конец Шэдокс сказала:

— Конечно, познакомь ее с мальчиком и сделай это поскорее. В вашем доме все так неестественно.

Но Шэдокс не знала реальной обстановки. Или немного догадывалась? Она была не так глупа, как казалось.

Шэдокс торопила, считая это дело обычным

и заурядным. Но оно не было заурядным. Это непредсказуемый и значительный ход в игре, механизм которой Мюриель сама только наполовину понимала. Ей теперь казалось, что она какое-то время играет в нее, понимая, что последствия неизбежны. Мюриель была взволнована и напугана, и хотя и пыталась обсудить все с Лео спокойно — ей не удалось. Ее настроение заразило его, и теперь он был так же взволнован, как она.

Почему этот поступок, на первый взгляд как будто просто нарушавший обычный порядок, стал казаться настолько необходимым? Когда Мюриель размышляла над ним, она как будто снова слышала голос отца, произносивший: «У нас есть бесценное сокровище, которое мы должны вместе охранять». Она слышала, как он говорит: «Элизабет — мечтательница» — и повторяет: «Она пытается покинуть нас», и видела застывшее, напряженное лицо Карела, его улыбку, так напоминающую гримасу боли.

Необходимость расшевелить Элизабет, пробудить ее, сделать что-то неожиданное, просто увидеть, что она разговаривает с кем-то другим, в сознании Мюриель связывалось с ее собственным самосохранением. Уединенность Элизабет,

паутина, которую, по словам Карела, она плела, пугала и Мюриель тоже. Некий процесс, и так продолжавшийся слишком долго при ее участии, необходимо остановить. Если этого не произойдет, Мюриель боялась, хотя и не понимала причин своего страха, что в конце концов окажется окончательно запертой с Элизабет и Карелом. Не только ради Элизабет, но и ради себя необходимо поднять голос, закричать, открыть окна, затопать ногами.

Кроме того, было еще одно обстоятельство. Мысль дать Лео свободу относительно Элизабет безраздельно овладела Мюриель. Она приятно волновала ее. Они оба были такими красивыми! Идея соединить их вместе, если даже это будет означать — просто поместить их рядом в одной и той же комнате, занимала ее воображение, как спаривание редких животных. Глубокая странная любовь, которую она испытывала к кузине, переплелась с этим планом, и не удивительно, что и Лео дрожал от ожидания, видя ее тревогу. Мюриель была и взволнована, и напугана. Она боялась Карела, хотя и говорила себе: «Он ничего не сможет мне сделать» Но Мюриель понимала, что он может кое-что сделать. Точно так же, как в детстве, хотя он никогда не бил ее, она знала об

ужасных наказаниях. Боялась она и Элизабет.

Мюриель выглянула из комнаты и прислушалась. Ничего не было слышно, кроме шума проходящего поезда и знакомых звуков — Пэтти отсылала от дверей Антею Барлоу. Она снова повернулась к Лео.

— Кажется, я подхватил простуду, — сказал Лео. — Ей это, наверное, не понравится.

— К черту твою простуду.

— Я смертельно боюсь. Может, стоило предупредить ее?

— Она бы сказала, что не примет тебя.

— Похоже, она очень необычная девушка. Может, у нее не все в порядке с головой?

— Нет, конечно нет. Она милая и умная, ты увидишь.

— Ты думаешь, я ей понравлюсь?

— Уверена.

— Но что она скажет? О чем мы будем говорить?

— Не знаю, — сказала Мюриель. Она действительно не знала. Она даже не была уверена, что Элизабет не закричит. — Ты не сделаешь ничего глупого, Лео? Я хочу сказать, ты не набросишься на нее или что-то в этом роде? Она вела очень уединенную жизнь.

— Наброшусь на нее?! Я не знаю, хватит ли мне смелости заговорить с ней?

— Хватит, ты все сделаешь хорошо. Просто будь естественным.

— Естественным! Что за надежда!

— Ладно. А сейчас, я думаю, нам пора идти.

— Мюриель, мне этого не выдержать. Я боюсь. Неужели нельзя сделать это как-то по-другому?

— Нельзя.

— И мы должны идти сейчас?

— Сейчас.

— Дай мне минуту, — попросил Лео.

Он посмотрел на себя в зеркало, стоящее на туалетном столике Мюриель, пригладил волосы, поправил воротник сорочки. Мюриель отметила, что он одет более тщательно, но меньше к лицу, чем всегда, или, возможно, его оставила обычная развязная самоуверенность. Он выглядел тонким нервным мальчиком.

— Не думай, что я неблагодарный, — сказал Лео. — Просто я так много думал обо всем этом и говорил себе: это всего лишь знакомство с девушкой, — но это не просто знакомство. И я ужасно волнуюсь и от страха не могу говорить. Знаешь, Аристотель сказал, что человек замолкает даже в середине разговора, если слышит, что кто-то

ворует его лошадь…

— Наплевать на Аристотеля. Пойдем.

Мюриель снова выглянула. Прислушалась. В доме царила тишина. Дверь в комнату Карела была закрыта. Она взяла Лео за руку, сжала ее и вывела его в коридор.

Мюриель дрожала. Просто открыть дверь комнаты Элизабет — неужели это будет так трудно и так преисполнено особого значения? Неужели эта дверь действительно ведет в иное будущее? Мюриель попыталась взять себя в руки. Не может произойти ничего, не поддающегося контролю. Позже она сама удивится своей теперешней взвинченности.

Комната находилась на следующей лестничной площадке. Полмарша Мюриель тянула Лео за собой вверх и, как только достигла верхней ступени, услышала шаги внизу. Кто-то поднимался из холла. Тяжелая, неуклюжая поступь извещала о приближении Пэтти. Мюриель на секунду застыла, словно парализованная, видя как бы со стороны то, что откроется взору Пэтти: и она и Лео, рука в руке, около двери Элизабет, явно в чем-то виновные. Она представила, как Пэтти закричит, станет звать Карела.

Мюриель не смогла заставить себя сразу

скрыться в комнате Элизабет. Едва ли удастся ворваться туда и тотчас же добиться, чтобы все замолчали.

В два прыжка преодолев часть коридора, она распахнула дверь бельевой и втолкнула Лео в темноту, вошла сама и тихо прикрыла дверь к тому времени, как Пэтти обогнула площадку. Она молила Бога, чтобы та не пришла за бельем.

Тяжелые шаги Пэтти проследовали мимо двери и остановились намного дальше, у буфета с фарфором, которым редко пользовались. Мюриель слышала, как она перебирает посуду, позвякивающую друг о друга. Лео начал что-то шептать, но она прикрыла ему рот рукой.

Мюриель ощущала движения Пэтти и теперь могла расслышать, как в соседней комнате удивительно близко играет радио Элизабет. Ее сердце бешено колотилось, будто нечто огромное дышало в доме. Внезапно она отчетливо представила тонкую освещенную щель в стене. Все сотрясая, под ними с грохотом пронесся подземный поезд.

Под прикрытием шума поезда Лео прошептал:

— Кто это был?

— Пэтти. Она не видела нас. Подождем.

Мюриель почувствовала, как ею овладевает непреодолимое желание заглянуть через щель

в комнату Элизабет. Она, как охотник, так долго гонявшийся за дичью, все свое внимание сосредоточила на Элизабет. И кульминацией этого внимания стало теперь страстное стремление увидеть свою кузину, оставаясь самой невидимой. На минуту она почти забыла о Лео, как будто то, что заставило ее задохнуться от волнения, касалось только ее одной. Она почувствовала себя безрассудно-отважной и свободной. Но, конечно, в присутствии Лео это невозможно. Нельзя, чтобы Лео узнал, что Элизабет в соседней комнате. Лео временно подчинился, но он тоже слишком взволнован и способен внезапно выйти из подчинения. В присутствии даже притихшего Лео Элизабет будет слишком потрясена. Близость Элизабет, сама мысль о глазке могла оказаться достаточной, чтобы привести Лео в неистовство.

Затем Элизабет громко вздохнула. Вздох прозвучал невероятно близко. Сама того не желая, Мюриель обнаружила, что пристально смотрит на Лео в темноте. Она смогла увидеть только вопросительное выражение глаз, обращенных к стене. Прошел еще один поезд.

— Она там?

— Да.

Она ощутила, как рука Лео, словно обруч,

проскользнула по ее руке и сжала запястье. Он прижал ее руку к своему бедру, пристально глядя на нее. Затем посмотрел немного в сторону, на щель в стене. Мюриель все еще слышала, как Пэтти возится в коридоре.

Когда проходил следующий поезд, Лео прошептал:

— Мы могли бы посмотреть.

— Нет.

— Пожалуйста. Смотреть на девушек через ширму. Как в Японии. Мы должны.

— Нет. Ты обещал подчиняться мне.

Прошел поезд. Мюриель стояла неподвижно очень близко к Лео в маленьком темном пространстве, прислушиваясь к приглушенным звукам радио и позвякиванию фарфора. Из соседней комнаты снова раздался тихий колеблющийся звук и снова вздох. Мюриель тяжело дышала. У нее было странное чувство, будто ее тело стало огромным и чужим, потом она осознала, что это Лео прижался к ней всем телом от плечей до колен. Он отпустил ее руку и начал что-то горячо и щекотно шептать ей на ухо.

— Нет, — возразила Мюриель, сама не зная, что же он сказал. Ею самой владело непреодолимое желание заглянуть в комнату Элизабет.

Она ухватилась за руку Лео, пытаясь удержать его и одновременно удержаться самой, ощущая свое безрассудство и безответственность. Она сжала Лео, и они прильнули друг к другу, как два падших ангела.

— Нет.

Монотонные звуки музыки проникали сквозь освещенную щель сонно и волнующе. Мюриель крепко сжимала предплечья Лео, ее лицо коснулось его головы, она вдыхала аромат его волос и кожи. Он произнес ей на ухо отчетливо, хотя и очень тихо:

— Ты привела меня сюда. Так не своди меня с ума.

— Может, она раздета, — сказала Мюриель. Это были предательские слова. Она потерпела поражение в борьбе с собой.

— Хорошо, тогда ты посмотри первая.

Все еще была слышна возня Пэтти в коридоре. Теперь Мюриель знала, что должна будет посмотреть, отказаться стало невозможно. В конце концов, бросить украдкой незаконный взгляд на кузину — разве это так уж важно? Почему я же тогда она так дрожит? Конечно, она понимала, что это важно. Элизабет была тайной, и ее обособленность и достоинство несли в себе опасность.

На Элизабет лежало табу. Но Мюриель, словно зачарованную пением сирены, неудержимо влекло к ней. Она испытывала одновременно и благоговение и страх, как человек, потерявший сознание у пещеры сивиллы.

— Ты будешь слушаться меня?

— Да, да, но посмотри.

Лео, разгоряченный и дрожащий, казалось, прилип к ней, как паразит. Он издавал непрекращающиеся очень тихие свистящие звуки. Мюриель оттолкнула его и повернулась к нему плечом. Теперь трепещущая полоска света была прямо перед ее лицом. Мюриель казалось, что она тоже тихо свистит. Она медленно опустилась на одно колено и прислонилась к полке, затем, отодвинув белье, которое закрывало нижнюю часть трещины, наклонила голову.

Через узкую щель было трудно смотреть. Мюриель, пытаясь что-нибудь рассмотреть, пододвигалась до тех пор, пока чуть не коснулась носом стены перегородки. В первое мгновение она ничего не видела, кроме темноты и яркой полоски света. Затем стала различать очертания.

Она смотрела как будто через прозрачную воду, и прошла минута, прежде чем Мюриель поняла, что видит перед собой большое французское

зеркало. Свет падал между ней и зеркалом, как легкая полупрозрачная вуаль. Она вглядывалась через стеклянную арку, пытаясь рассмотреть сквозь тусклую, как будто затянутую марлей завесу в далеком пространстве такую близкую и знакомую комнату своей кузины.

Постепенно начали обретать свою форму альков и изголовье кровати Элизабет.

Мюриель почувствовала прикосновение к плечу. Она отодвинулась, пытаясь снова собрать воедино хрупкий образ, который теперь задрожал, как потревоженная вода. Наконец ей удалось сконцентрировать внимание на маленьком ясном кружке. Она увидела конец шезлонга, придвинутого к зеркалу и отраженного в нем, за ним — кровать с разбросанным бельем и Элизабет, которая находилась в постели. Она увидела ясно, и в то же время как во сне, движущуюся голову Элизабет, наполовину срытую потоком волос, и ее обнаженное плечо. Затем какое-то движение, другие формы и внезапное сплетение слишком многих рук. А за потоком волос разглядела медленно поднимающиеся из объятий голову и ужасающе бледное обнаженное тело своего отца.

Мюриель попятилась от щели. Она двигалась

медленно, с силой и точностью стального механизма. Она поднялась на ноги и стояла там, в темной комнате, недвижимая и застывшая, как башня. Казалось, время остановилось, пока медленно, но верно она осознавала, что же увидела. Она вспомнила о присутствии Лео, который уже какое-то время теребил ее. Внизу снова прошел поезд.

— Дай теперь мне посмотреть.

— Она раздета, — сказала Мюриель.

— Дай мне посмотреть.

— Нет.

— Я посмотрю.

Лео стал ее отталкивать. Мюриель, сопротивляясь, уперлась в его плечи. Лео, что-то шепча, начал толкать ее сильнее. Мюриель обхватила его талию одной рукой, а другой схватила за шею, пытаясь оттянуть его голову. Их ноги сплелись, и он стал терять равновесие. С оглушительным грохотом, продолжая бороться, они упали на пол. В комнате зажегся яркий свет.

— Извините, — сказал Маркус Фишер.

Он стоял в дверях, держа в руках пакет, завернутый в коричневую бумагу, и букет хризантем, за его плечом маячило мрачное, встревоженное лицо Пэтти. Лео и Мюриель, теперь отчаянно

отталкивая друг друга, откатились в разные стороны.

— Я так сожалею, — проговорил Маркус. — Я ужасно сожалею.

Мюриель стала подниматься.

— Я так сожалею, — повторил Маркус. — Ужасно глупо с моей стороны. Я искал комнату Элизабет. Ну конечно, это, должно быть, следующая дверь.

Он попятился назад.

Мюриель видела, как он выходит в коридор, слышала взволнованный голос Пэтти. Как только Маркус снова двинулся, Мюриель бросилась к двери. Она задыхалась. Придерживаясь за край двери, она во весь голос закричала, громко и отчетливо впервые в жизни произнося имя своего отца:

— Карел! Карел! Карел!

Глава 17

— Карел! Карел! Карел!

Маркус Фишер, все еще ошеломленный внезапным и неожиданным зрелищем Лео и своей племянницы, обнимавшихся на полу у большого бельевого шкафа, пришел в полное замешательство, услышав так громко прозвучавшее имя брата. Странный крик, крик, в котором отразились и страх и угроза, стих, заставив парализованного и потрясенного Маркуса замереть в коридоре. Цветы свисали из его руки до полу.

Что-то пронеслось мимо него. Лео достиг верхней площадки и, казалось, слетел с нее одним прыжком. Удаляющийся топот его ног перерос в подземный гул поезда. Дом задрожал. Перед ним предстало лицо Мюриель. Она стояла рядом, прислонившись к закрытой двери. Лицо ее напоминало древнюю набальзамированную маску, напряженную и застывшую. Безжизненный рот открыт, как бессмысленная щель. За его спиной Пэтти продолжала что-то сердито ворчать, но он не мог разобрать ни слова. Отшатнувшись от женщин, он развернулся и положил цветы на

стол. Он заметил, что столешница инкрустирована различными сортами мрамора: коричневого, зеленого, белого. Коридор был плохо освещен. Он оглянулся на ступени, ожидая увидеть высокую фигуру брата, возвышающуюся над ним.

В обернутом в коричневую бумагу пакете находилась икона Троицы, представленной в виде ангелов. Ему пришлось заплатить за нее триста фунтов в антикварном магазине. Конечно же, он ни минуты не сомневался в своих намерениях; как только узнал о курьезной беде, в которую попал Лео, его сердце сразу же решило за него. Теперь он испытывал не лишенное приятности чувство стыда, понимая, что должен быть строже с Лео, намного строже, сохранять при этом достоинство и прежде всего держать его на расстоянии. Вместе с тем он хорошо осознавал свою слабость, которая делала невозможной эту строгость. Мальчик манипулировал им, и они оба хорошо понимали это.

Маркуса очень радовало, что у него появилось практическое дело, связанное с обитателями дома священника. Ему отчаянно хотелось увидеть своего брата снова, увидеть его лицо, скрытое во время их последней встречи, которое предстало пред ним во сне в виде обезображенного

лица демона. Ему было необходимо отогнать этот призрак, позволить повседневной и простой реальности обратить эти беспокоящие образы в бегство. Это казалось еще более настоятельным в отношении Элизабет, образ которой изменялся в его воображении совершенно независимо от его рационального сознания. Невинной и милой девушке, какой он ее помнил, угрожала опасность превратиться в его представлении в медузу. Он должен увидеть Элизабет, реальную Элизабет, как можно скорее и остановить в себе тот жуткий процесс, который, казалось, обретал над ним все большую власть.

Возвращение иконы представляло собой уважительную причину для визита, — возможно, это даже поднимет его авторитет. Маркус вообще намеревался спросить сначала Юджина и заручиться поддержкой Пешковых, прежде чем действовать дальше. Однако он еще больше осмелел, когда дверь дома священника внезапно распахнулась перед ним, пропуская уходящего электрика. Как во сне, Маркус вошел. Поблизости никого не было. Он знал расположение комнаты Элизабет, или по крайней мере ему так казалось. Во время своих ночных вылазок к запретному дому он уже мысленно все представил. Тогда

казалось вполне возможным стремительно подняться по ступеням и попытаться предстать перед лицом безобидного существа, которое стало теперь так нелепо пугать его.

— Ну, Маркус.

Появился Карел. Маркус смотрел на пуговицы черной сутаны, затем поднял глаза на лицо брата. Оно блестело, как эмаль, как фарфор, и Маркус впервые обнаружил, какими голубыми были глаза брата. Они смотрели на него, отливая голубизной небес или цветов. Темные волосы блестели, как перья птицы.

— Пойдем, Маркус.

Маркус последовал за братом, словно его влекло магнитом. Мюриель и Пэтти промелькнули, как случайные прохожие, попавшие в кадр, и исчезли из поля зрения. Маркус шел вплотную вслед за Карелом, чуть не наступая на колыхающийся край его сутаны, вниз по ступеням, затем вверх и через дверь. Свет занавешенной лампы освещал открытую книгу и стакан молока. Дверь за ними закрылась.

— Извини, — пробормотал Маркус.

Воцарилось молчание. Затем Карел издал приглушенный звук, напоминающий смешок.

— Все в порядке, брат. Садись, брат.

Маркус обнаружил, что машинально снова взял цветы с мраморного столика, вдыхая довольно удушливый аромат коричневых и желтых хризантем, он положил их вместе с завернутым в коричневую бумагу; пакетом на стол и сел на стул с прямой спинкой.

— Маркус, Маркус, Маркус. Я же сказал тебе, чтобы ты оставил нас в покое.

— Извини, видишь ли, я…

— Считай, что мы умерли.

— Но вы не умерли, — возразил Маркус. — Кроме того, Элизабет…

— У тебя нет никаких обязательств перед Элизабет.

— Не в этом дело, — сказал Маркус. Он чувствовал себя возбужденным и достаточно красноречивым, чтобы точно описать свое состояние. — Дело не в обязательствах. Просто я очень расстроен из-за Элизабет. Я все время думаю о ней, беспокоюсь, и мне приходят в голову странные мысли. Я должен непременно увидеть ее. Я не могу работать, не могу ничего делать.

— Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что тебе в голову приходят странные мысли?

— Сам не знаю. Это нелепо. Мне снятся кошмары, как будто она изменилась.

— М-м-м.

— Так что, ты видишь, я должен увидеть ее, хотя бы только для собственного успокоения.

— Может быть, позже. Посмотрим. Элизабет сейчас плохо себя чувствует.

— Я, кажется, больше не верю ни одному твоему слову, — сказал Маркус. Чувствуя себя странно взволнованным, он вгляделся в Карела, который стоял теперь прямо перед ним за пределами прямого света лампы.

— Не имеет значения. — Карел заключил слова протяжным вздохом, перешедшим в зевок.

— Не говори так, Карел. Я хочу поговорить с тобой серьезно, пожалуйста.

— О чем, мой дорогой Маркус? Ты хочешь предаться воспоминаниям о нашем детстве?

— Нет, конечно нет. Я хочу поговорить о тебе, как ты живешь, о чем думаешь.

— Трудный предмет, слишком трудный для тебя.

— Ты знаешь, что некоторые люди считают тебя безумным?

— А ты?

— Нет, конечно нет. Но ты ведешь себя странно, никого не видишь. А сколько ты мне наговорил прошлой ночью. Это правда, что ты потерял

веру?

— У тебя такой старомодный язык. Ты хочешь спросить, считаю ли я, что Бога нет?

— Да.

— Что ж, тогда да. Я так думаю. Бога нет.

Маркус пристально всматривался в спокойную высокую фигуру в полумраке комнаты. Слова прозвучали необычайно весомо. Маркус всегда считал такие слова малозначащими, но сейчас они поразили его.

— Значит, ты не притворялся в прошлый раз, не подшучивал надо мной?

— Я бы не стал утруждать себя шутить с тобой, Маркус, а тем более — обманывать тебя.

— Но, Карел, если ты действительно больше не веришь, ты не должен оставаться священником. Твоя профессия…

— Моя профессия — священник. И если Бога нет, моя профессия быть священником без Бога. А теперь, мой дорогой Маркус…

— Пожалуйста, Карел, только минуточку, я так хочу, чтобы ты объяснил мне…

— Помолчи немного.

Карел развернулся и стал шагать взад и вперед. Маркус сидел сгорбившись и окаменев. Немного погодя Карел сказал:

— Что ж, пожалуй, я поговорю с тобой, почему бы и нет. В прошлый раз я представил тебе вульгарную доктрину. Рассказать, как на самом деле?

Хотя Маркус и отрицал это, он был сейчас почти уверен, что его брат безумен. Испытывая страх перед ним, он невольно тихо сказал:

— Я не очень уверен, что хочу это услышать сейчас.

— Никто не хочет слышать, Маркус, эту самую большую тайну в мире. И хотя я, может быть, и расскажу тебе, не старайся удержать ее в памяти, так как она не имеет права на существование.

Карел все еще ходил по комнате, но не размеренными большими шагами, а его как будто носило в пространстве взад-вперед. Сутана шелестела, развеваясь, замирала и снова развевалась.

Карел продолжал:

— Ты представить себе не можешь, как часто я испытывал соблазн объявить с кафедры, что Бога нет. И это стало бы самым религиозным утверждением, какое только можно себе представить. Если бы только был кто-то достойный произнести или воспринять его.

— Оно не слишком новое…

— О да, люди часто произносят подобные слова, но никто не верит им. Возможно, это удалось в ка-

кой-то мере Ницше. Но вскоре эгоизм художника замутил правду. Он не смог придерживаться ее. Возможно, это и довело его до безумия. Не сама правда, а неудачная попытка ее осмыслить.

— Не вижу в этом ничего ужасного, — сказал Маркус. — Атеизм может быть вполне гуманной доктриной.

— Все совсем не так, как представляют немецкие теологи и рационалисты с их наивным современным теизмом, а также те, кто называет себя атеистами, но не изменили ничего, кроме нескольких слов. Теология так долго была королевой и полагает, что до сих пор может править как замаскированная владычица. Но теперь все изменилось, toto caelo[14]. Люди скоро почувствуют последствия, хотя и не поймут их.

— А ты понимаешь? — пробормотал Маркус. Его рука коснулась и подняла что-то со стола. То была бумажная птичка.

Карел продолжал:

— Это не значит, что все дозволено. Сказанные слова — реакция лепечущего младенца. Ни один из тех, у кого хватило духа произнести их, никогда не верил в них по-настоящему. Они просто

---

[14] Примечания: 14
«На целое небо» (лат.).

стремились к новой морали. Но сама правда, которой они не представляли себе, само понятие о ней убило бы их.

— Но все равно мораль остается…

— Представь, что правда ужасна, представь, что это всего лишь черная яма или груда птиц, набитых в пыльном темном шкафу? Представь, что только зло реально, но оно перестало быть злом, с тех пор как утратило свое имя. Кто сможет посмотреть этому в лицо? Философы никогда и не пытались. Вся философия учила облегченному оптимизму, даже Платон это делал. Философы всего лишь авангард теологии. Они не сомневаются, что Добро в центре всего излучает свой свет. Они уверены, что Добро едино и неделимо. Они уверены в этом, а иначе обожествили бы общество, что, по правде говоря, то же самое, только несколько иным образом. Думаю, немногие из них действительно страшатся Хаоса и древнего мрака, и еще меньшие увидели это мельком; и если им удалось через какую-то щель или трещину в поверхности мельком увидеть это — они побежали назад к своим столам и усердно трудились, чтобы объяснить, что все было не так, поскольку так не может быть. Они страдали, они даже погибали за свои убеждения и называли это правдой.

— Но ты сам действительно веришь…

— Любая интерпретация мира — ребячество. Разве это не очевидно? Вся философия напоминает детский лепет. Евреи это немного понимали. Это единственная достаточно суровая религия. Автор книги Иова осознал это. Иов искал смысла и правосудия. Иегова ответил, что их нет. Есть только власть и упоение властью, есть только случай и ужас случая. А если есть только это, то нет Бога, и единственное Благо философов — иллюзия и фальшь.

— Подожди минуту, — сказал Маркус. Его голос прозвучал неожиданно резко и грубо, как будто слова Карела не были произнесены вслух, но бесшумно проникли в его мозг посредством телепатии. — Подожди минуту. Может, я и соглашусь с этим. Но обычная мораль еще существует, обычное приличное поведение все еще имеет смысл. Ты говоришь так, как будто…

— Если существует добродетель, она должна быть одна, — сказал Карел. — Многобожие — не язычество, а триумф зла, или, скорее, то, что мы называли злом и что теперь безымянно.

— Я не понимаю тебя. У людей могут быть разногласия относительно морали, на это у каждого свои доводы.

— Исчезновение Бога не просто оставляет пустоту, в которую проникают человеческие доводы. Смерть Бога выпускает на свободу ангелов. И они ужасны.

— Ангелы?..

— Существуют ангельские чины и власть. Ангелы — это мысли Бога. Сейчас он растворился в своих мыслях, которые своей природой, своей многочисленностью и властью находятся за пределами нашего сознания. Бог, по крайней мере, был именем того, что мы считали добром. Теперь даже имя утрачено, а духовный мир потерпел крах. Больше не осталось ничего, что могло бы препятствовать магнетизму многих духов.

— Но, но… — залепетал Маркус, голос его, казалось, превратился в бессвязное хриплое бормотание, — но существует добродетель, что бы ты ни говорил, существует мораль, и это очень важно, наша забота о других…

Карел тихо засмеялся:

— А существуют ли другие? Только испытывая боль, обретаешь способность убедиться в существовании других. Весь этот альтруизм питает разжиревшее эго. Это очевидная вещь. Только огромное заблуждение скрывает это от наших глаз. Нет, нет, мы творения случая, приведенные

в движение силами, которых не понимаем. Что самое важное во мне и тебе, Маркус? То, что мы были зачаты случайно, что мы можем выйти на улицу и нас задавит машина. Наша зависимость от случая в большей степени, чем нравственность, делает нас потенциально духовными. И в то же время из-за этого духовное начало недоступно нам. Мы прах, Маркус, и ничто не реально для нас, кроме жуткого чрева Бытия, куда нам суждено возвратиться.

— Хорошо, все это были иллюзии — но теперь, по крайней мере, мы знаем правду и можем начать отсюда…

— Мы не знаем правды, потому что, как я уже тебе сказал, ее невозможно вынести. Люди постоянно утаивают от себя, что добро только тогда добро, когда оно бескорыстно. Вся история философии, вся теология — это акт сокрытия. Старая иллюзия закончилась, но будут иные, другого рода — ангельские иллюзии, которых мы сейчас не можем вообразить. Необходимо быть добрым бескорыстно, не ожидая награды в мире Иеговы и Левиафана. Вот почему добродетель невозможна для нас, человеческих существ. Не только невозможна, даже невообразима, в нашем царстве ее не существует. Идея пуста. Это сказано

о божественной идее, но еще в большей мере это можно отнести к идее Добродетели. Было бы утешением, блаженством думать, что со смертью Бога начинается эра истинного духа, в то время как все предыдущее — только подделка. Но это тоже ложь, ложь современной теологии. С иллюзией Бога или без нее добродетель неприемлема для нас. Мы стоим на слишком низкой ступени развития. Бог сделал невозможным появление истинных святых. И теперь, когда он исчез, мы не обрели свободы для святости. Мы — жертвы ангелов.

Дом чуть задрожал от приглушенного шума поезда. Маркус взглянул вниз на то, что сжимал в руке. Это была бумажная птичка, которую он смял в комок. Он обнаружил, что его рот широко открыт, как если бы он собирался закричать, как изгнанный Адам. Он поднял глаза на Карела, который теперь не двигался и смотрел на книжные полки. Глаза Карела были полуприкрыты, а на лице появилось сонное, мечтательное, почти сладострастное выражение.

«Я должен ответить ему, — подумал Маркус. — Я должен ответить». Ему казалось, что нечто ужасное, угрожающее материализуется перед ним. Он сказал, почти прокричал:

— Но ты не прав, существуют факты, реальные вещи, люди любят друг друга, это как раз так…

— Можно любить только ангела. А эта ужасная вещь — не любовь. А те, с кем общаются ангелы, потеряны.

— Я передумал, — заявил Маркус. — Теперь мне кажется, что ты сошел с ума.

— Тогда ступай, мой невинный братец. Возвращайся к своей наивной теологии. «Где ты был, Маркус, когда я закладывал основы земли, когда утренние звезды пели хором и все сыновья Бога взывали к радости?»

Маркус встал.

— Итак, ты намерен остаться священником, — сказал он. — Ты намерен продолжать фарс с такими мыслями?

— Это не имеет значения. Когда я провожу мессу, я — Бог. Nil inultum remanebit[15]. Хотя и нет судьи, я буду наказан совершенно автоматически из-за огромной власти Вселенной. Это будет ее последней милостью. А пока я останусь на своем месте. Останусь, мой Маркус. Я подожду, пока все это закончится.

Его имя, произнесенное Карелом, как в детстве,

---

[15] Примечания: 15
Ничто не остается неотомщенным (лат.).

сильно подействовало на Маркуса, его внезапно охватило какое-то теплое чувство — жалость скорее к себе, чем к своему брату. Он всмотрелся в лицо Карела в поисках беспокойства, отчаяния, но тот, чуть заметно улыбаясь, с отсутствующим видом смотрел в сторону.

Маркус почувствовал, что его отпустили, может даже уже забыли о его присутствии. Но он не мог так уйти. Ему захотелось привлечь внимание Карела к себе, даже если тот разгневается. Маркус сказал:

— Я принес эти цветы Элизабет.

Карел медленно повернулся к нему, посмотрел все еще отсутствующим взглядом и подошел к окну. Он потрогал пушистые головки хризантем.

— А что в пакете? Что-нибудь для Элизабет?

Маркус вспомнил об иконе, но в первый момент не мог понять, почему она у него. Он смущенно сказал:

— Это икона, наверное, ты не знаешь о ней, она принадлежит Юджину Пешкову…

— А, этому поляку.

— Вообще-то он русский.

— Можно посмотреть?

В действительности Карел уже развертывал бумагу. Под прямым светом лампы рядом с уны-

лой белизной цветов массивный деревянный прямоугольник переливался золотистым и голубым цветом. Три бронзовых ангела, печальные от испытанного поражения и унижения, грациозные и отдаленные, сидели, как на тайном совещании, держа свои посохи и склонив друг к другу небольшие головки, окруженные огромными кремовыми нимбами, парящими над их престолами.

Карел медленно отложил ее и что-то пробормотал.

— Что? — спросил Маркус.

— Я сказал «высокие».

— Высокие?

— Они были бы такими высокими.

Маркус посмотрел на Карела. Тот все еще сосредоточенно рассматривал икону, снова улыбаясь расслабленной счастливой улыбкой.

Маркус кашлянул.

— Она представляет Троицу, — сказал он.

— Как эти трое могут быть одним? Как я уже сказал тебе. А теперь, пожалуйста, уходи, Маркус.

Маркус заколебался. Он больше ничего не мог придумать, что бы сказать. Теплое, расслабляющее чувство вернулось к нему, он готов был заплакать и сказал:

— Я зайду к тебе снова.

Карел, смотревший на икону, не ответил.

— Я еще увижу тебя, Карел.

— Уходи.

Маркус сделал шаг-другой к двери. Он не мог взять икону из рук Карела. Снова ощутил боль и невозможность оставить его в столь мрачном состоянии один на один с такими мыслями. Напрасно все это было сказано. Может, какие-то чары вернут их назад, и все станет как прежде. Внезапно он ощутил настоятельную потребность прикоснуться к брату. Он вернулся и, наклонившись, сжал подол черной сутаны.

— Не прикасайся ко мне.

Карел быстро отодвинулся, выдернув материю из руки Маркуса. Когда Маркус выпрямился, Карел шагнул вперед, и на секунду Маркусу показалось, что брат собирается обнять его. Вместо этого Карел намеренно сильно ударил его по губам.

Маркус задохнулся, прижав руки к лицу. Он почувствовал, что его тело пылает от стыда и боли. Он отчетливо видел металлические черты Карела, его фарфорово-голубые глаза, задумчиво и напряженно устремленные на него.

Карел пробормотал:

— Ты существуешь, Маркус, хоть на секунду ты существуешь. А теперь убирайся.

Голубые глаза закрылись. Маркус, спотыкаясь, вышел за дверь.

Глава 18

— Забавно, — сказала Элизабет. — Я перестала слышать поезда. Никогда не думала, что привыкну к ним. А ты перестала обращать на них внимание?

— Да, — ответила Мюриель.

— Головоломка почти закончена.

— Ты много сделала.

— В конце концов это захватывает. Но я такая ленивая. Эта подходит, не правда ли?

— Да, подходит.

— Что мы будем делать, когда закончим ее?

Они сидели на полу в комнате Элизабет, лампы были зажжены, занавески задернуты. Огонь трепетал, отбрасывая неровные золотистые отражения на коричневатые укромные уголки французского зеркала. Недокуренная сигара Элизабет тлела в пепельнице. Она сидела лениво, подогнув под себя стройную ногу, обтянутую черными брюками, прислонившись спиной к шезлонгу и обратив лицо к огню. Кончики ее рассыпавшихся волос упали на плечи. Полосатая рубашка небрежно распахивалась, когда она

наклонялась за очередным фрагментом головоломки.

— Осталось только немного этого скучного моря.

— Ты много сделала, — сказала Мюриель и подумала: «Кажется, я уже только что сказала это».

— М-м-м. Снова туман, не так ли?

— Да.

— Я ощущаю здесь его запах, даже когда зажжен огонь. Снег еще шел?

— Нет.

— Он все еще лежит?

— Очень много. Сейчас не слишком приятно на улице.

Мюриель вошла в комнату Элизабет, испытывая дурноту от ожидания и страха, и едва смогла заставить себя прикрыть за собой дверь. Она ждала если не объяснений или приговора, то хотя бы того, что помогло бы ей сменить настроение. Оно было настолько ужасным, что любое изменение могло принести некоторое облегчение. Для нее особенно невыносимым было не то, что она увидела, хотя воспринятый ею образ производил ужасающее впечатление смертельной болезни, ждущей своего часа, но ее невероятно мучила мысль, что они знают о ее сопричастности и

могут подумать, что она намеренно следила за ними. На нее легло бремя вины. И она нуждалась в помощи Элизабет, ей важно было услышать слова, может даже невнятные, но способные вернуть ее назад в обитаемый мир, возможно, тогда станет в человеческих силах иметь дело с тем, что она увидела, как бы все это ни было жутко. И любое движение, которое предприняла бы Элизабет, могло предоставить такую помощь. Но она не сделала никакого движения.

Когда Мюриель вошла, безмолвная и способная только встать на колени и склонить голову, Элизабет, казалось, ничего не заметила и вела себя как обычно — говорила банальности, немного жаловалась и с недовольным видом возилась с головоломкой. Мюриель медленно подняла голову и с усилием, почти заставившим ее задохнуться, стиснула зубы и стала отвечать с видимой беспечностью и спокойствием. Она не знала, что и подумать. Элизабет должна была услышать тот отчаянный крик «Карел! Карел!», должна была почувствовать присутствие Мюриель в соседней комнате. Если бы она не поняла, то, безусловно, спросила бы и удивилась. Само ее молчание подразумевало знание. И в то же время с такой странной девушкой разве можно

быть в чем-то уверенной? Возможно, Элизабет не поняла и уже выбросила это из головы. Она, казалось, жила на разных уровнях и в различных измерениях. Возможно, какая-то трещина или дефект в структуре ее мозга просто и милосердно изолировал ее сознание от всех воспоминаний об инциденте, которые, безусловно, казались пугающими и ужасными. Но как то, что Мюриель видела своими глазами, отразилось в сознании ее кузины?

О Кареле Мюриель вообще не могла пока думать. В ее отношениях с отцом всегда существовала темная сторона, которая мешала разглядеть его как следует и не позволяла ей судить его. По ее мнению, он никогда не принадлежал к обычному человеческому роду. И хотя он был для нее незнакомцем и самым странным человеком, какого она когда-либо знала, он в то же время представлял собой неотъемлемую часть ее сознания, и она почти удивлялась тому, что другие люди его тоже видят. Теперь она не могла размышлять о нем и приписывать ему намеренные поступки, она не в состоянии была думать о нем как о благоразумном человеке, способном принимать решения и на что-то отваживаться. Он был слишком огромен для ее мыслей и возвышался

рядом с ними, непостижимый и неотвратимый. Не то чтобы Мюриель все время думала о нем — она постоянно несла его в себе.

И не было никаких новых известий, которые могли бы нейтрализовать испытанное ею потрясение. Она по-прежнему испытывала шок, как человек, который держит головой электрический провод и не может отпустить его. Единственное, что изменилось с течением времени, — усилилось ее чувство вины. Она была виновна в том, что увидела и узнала, подсматривая. Что-то было уничтожено, разбито вдребезги, и это она совершила преступление, стала разрушительницей и богохульницей. Изо всех сил она старалась найти себе оправдание. Затем с сознанием вины пришла мысль о прощении, а вместе с нею возник образ Юджина. Мюриель с удивлением и облегчением обнаружила, что она все еще способна думать о Юджине, наверное, потому, что он был безобидным и добрым, оставался доступным и свободным, не замешанным в ее несчастье. Каким-то образом его присутствие стало необходимым, как весомый противовес Карелу, белая фигура против черной. Она снова подумала о том, чтобы прийти к нему, рассказать обо всем и даже несколько раз мысленно поговорила с ним,

после чего немного успокоилась. Она подумала о русской шкатулке и о добрых слезах, которые он пролил из-за нее. Ей непременно следует пойти к Юджину, но не сейчас. Юджин всегда здесь. А пока она еще подождет, понаблюдает за Элизабет, может, та подаст какой-то знак.

— Все еще день?

— Думаю, да. Трудно отличить день от вечера в такую погоду.

— Или от утра! Так хочется, чтобы туман рассеялся. Мне только пару раз удалось выглянуть из окна с тех пор, как мы приехали.

— Он скоро рассеется. Должен рассеяться.

— Не вижу причины для этого. Погода может внезапно измениться. Возможно, это как-то связано с бомбой.

— Он скоро рассеется.

— Как ты думаешь, ядерные испытания действительно могут влиять на погоду?

— Думаю, да, но не так сильно.

— Что у нас на ужин?

— Не знаю, я еще не ходила в магазин.

— Наверное, как всегда яйца.

— Тебе, должно быть, надоели яйца?

— Я ничего не имею против. Вот еще фрагмент, который подходит. Знаешь, мне кажется, я справ-

ляюсь все лучше и лучше.

— Думаю, здесь нужно умение, как и в любом другом деле. Ты и должна была усовершенствоваться.

— Мы купим другую головоломку, когда закончим эту, или перемешаем ее и начнем сначала?

— Пожалуй, я не вынесу этого — делать то же самое снова.

— Я, наверное, тоже. Даже если знаешь картинку заранее, кажется, будто открываешь ее заново. Мы достанем новую. Можно?

— Конечно, если хочешь, мы достанем другую.

Мюриель закрыла глаза, пальцы ее вцепились в туго натянутую поверхность ковра. Не слезы, но что-то похожее на крик парило, как птица, в ее горле. «Смогу ли я вынести такую боль?» — спросила Мюриель себя, и ей показалось, что она произнесла эти слова вслух.

Она открыла глаза и увидела странное выражение на лице Элизабет. Девушка больше смотрела не на головоломку, а куда-то за нее с напряженным, настороженным выражением, которое почти тотчас же стало спокойным и безучастным. Движение в воздухе заставило Мюриель замереть.

Затем она полуобернулась и вскочила на ноги.

В дверях стоял Карел.

Он проигнорировал Элизабет, которая не поднимала глаз, и тихим голосом сказал Мюриель:

— Могу я минуту поговорить с тобой?

Мюриель не помнила, как дошла до кабинета Карела. Сейчас она осознала, что находится в комнате, которая на этот раз была ярко освещена тремя лампами и светильником посередине. При ярком освещении комната казалась маленькой, заурядной, обставленной случайной мебелью. Она заметила, как потерт ковер. Услышав, как отец закрыл дверь, Мюриель с удивлением осознала, что стоит — не падает в обморок, не кричит.

— Пожалуйста, садись, Мюриель.

Она села у стола. Карел обошел вокруг него и сел напротив. Она чувствовала его взгляд, но не могла поднять на него глаз.

— Хотелось бы мне знать, Мюриель, нашла ли ты уже это место.

— Какое место? — спросила Мюриель хрипло, глядя в пол.

— Я хочу сказать, нашла ли ты работу, секретарскую должность?

— О нет, не нашла.

Голос Карела звучал как обычно, его вопросы

казались такими простыми и знакомыми, что Мюриель на секунду показалось, что она совершила какую-то чудовищную ошибку. Возможно ли, чтобы ее отец тоже не слышал, как она прокричала его имя, или каким-то непостижимым образом забыл об этом? А может, она вообще не кричала? Возможно, ей показалось это? Может, она вообразила и то, что, как ей казалось, увидела собственными глазами?

— Было бы неплохо найти работу, не так ли? Это, наверное, нетрудно. И уже прошло какое-то время.

Она попыталась посмотреть на Карела, но смогла поднять глаза только на его руки, которые лежали перед ним скрещенными на столе. Затем она увидела рядом с его руками на столе что-то еще. Это была икона Юджина «Троица», картина, как бы сократившаяся в ракурсе под ее взглядом до золотисто-голубой полосы. В появлении иконы на столе Карела таилось что-то сверхъестественное и одновременно ужасное. Неужели для него не было ничего невозможного? Мюриель с изумлением смотрела на нее. Она сказала:

— Да, я скоро найду работу.

— Пришло время тебе самой зарабатывать деньги. Ты сможешь получать большое жало-

ванье.

— В городе, да.

— Не обязательно в городе.

— Я хочу сказать, в городе легче, а так как я живу здесь…

— Это подводит меня к другому вопросу, — сказал Карел.

Что-то в его голосе заставило Мюриель поднять на него глаза.

— К какому?

— Я не хочу, чтобы ты продолжала жить здесь.

— Прости? — пробормотала Мюриель.

— Я хочу, чтобы ты выехала из дома как можно скорее.

Мюриель с изумлением смотрела на отца. При ярком свете гладкая поверхность его лица, белого, будто присыпанного пудрой, казалось, распадалась на составные части. Только глаза блестели, как влажные синие камни, и гладкие темные волосы поблескивали, будто были влажными. Мюриель сказала:

— Я не понимаю тебя.

— Я хочу, чтобы ты выехала из этого дома как можно скорее. — Карел произнес эти слова таким же точно тоном, как будто они не были повторением.

— Ты не можешь этого хотеть, — возразила Мюриель. Карел сидел, молча глядя на нее. Он немного подвинул руки, как будто хотел удостовериться, что они в удобном и расслабленном положении.

— Но почему?

Карел откашлялся и сказал:

— Знаешь ли, необычно в наше время, чтобы молодая особа твоего возраста жила с родителями. Ты ведешь ненормальную жизнь. Я думаю, пришло время тебе вести себя более естественно. Разве ты не согласна?

Мюриель всматривалась в глаза Карела, пытаясь увидеть какое-то движение, хотя бы малейший трепет расчетливого наблюдающего сознания. Но не видела ничего, кроме гладкой поверхности глазного яблока. Она моргнула, ощущая уголком глаза ровное свечение иконы.

— А как насчет Элизабет?

— Естественно, Элизабет останется здесь.

— Но кто будет присматривать за ней?

— Я буду присматривать за ней.

Мюриель глубоко дышала и пыталась думать. «Не может этого быть. Не может быть». В самых диких своих фантазиях ей никогда не приходило в голову, что отец может попытаться отделить

ее от Элизабет.

Она сказала:

— Не думаю, что Элизабет сможет управиться без меня. В глубине души она добавила: жить без меня, дышать без меня.

— Не сомневаюсь, что она скоро привыкнет к твоему отсутствию.

Мюриель подыскивала верные слова, пытаясь устоять против него. Мог ли отец заставить ее безропотно выполнять свои желания? Она сказала:

— Если я оставлю этот дом, я возьму Элизабет с собой.

Карел улыбнулся. Белые зубы блеснули на холодном лице.

— Едва ли это осуществимо, Мюриель. — Он говорил так, как будто это было самое обычное предложение.

Другая мысль пришла к Мюриель.

— Но Элизабет, безусловно… Знает ли Элизабет об этой идее? Одобряет ли ее?

— Естественно, я обсудил это с Элизабет, и, конечно, она одобряет.

Мюриель встала. Отец, оставаясь неподвижным, поднял на нее глаза. Ей хотелось бросить ему: «Я тебе не верю», но она сказала:

— Я тебя ненавижу.

Карел продолжал смотреть в ее сторону, но лицо его застыло, а глаза, казалось, остекленели. Мысленно он был уже один. Мюриель подняла руку, как будто хотела защитить лицо от слишком яркого света. Затем инстинктивным движением нагнулась, схватила икону со стола и прижала ее к груди. Она повернулась и выбежала из комнаты.

— Мюриель, Мюриель, Мюриель, не так быстро. Я хочу поговорить с тобой. Куда ты мчишься?

Она остановилась посередине холла и сказала Лео:

— Я иду повидать твоего отца.

— Его там нет. Он пошел за покупками. Послушай, я должен поговорить с тобой.

Мюриель положила икону на боковой столик лицом вниз. Она не хотела, чтобы Лео увидел ее. У передней двери зазвенел колокольчик, и минуту спустя послышался голос Пэтти, объясняющей Антее Барлоу, что, к сожалению, священник занят.

Первой мыслью Мюриель после того, как она покинула комнату отца, было побежать сразу же назад к Элизабет. Но следующая мысль ее остановила. Ей нужно время на раздумье, возможно помощь, прежде чем она увидит кузину. Реше-

ние отца отослать ее явилось для нее в первый момент категорической и безжалостной действительностью, как, впрочем, большинство решений Карела. Итак, теперь он хотел избавиться от нее. Постепенно она осознала, почему должна была уехать. Молчание кузины, ее привычная и знакомая раздражительность и беспокойство почти убедили Мюриель, что Элизабет ничего не знает, но теперь она поняла, как неразумно было так думать. Она была просто не в состоянии представить себе, что молчание Элизабет — намеренный маскарад, линия поведения, часть какой-то ужасной мести.

Теперь решение Карела заставило ее увидеть все в новом свете. Если Карел не лгал, он и Элизабет, должно быть, совещались, что предпринять. Действительно, вряд ли бы Карел велел Мюриель уйти, по крайней мере не предупредив Элизабет, и, безусловно, она могла бы остановить его, если бы захотела. Элизабет и Карел обсуждали ее, советовались, как с ней поступить, и холодно решили ее судьбу. Она оценила их действия при новых обстоятельствах. В своем состоянии шока ей не пришло голову спросить, как они поступят.

Этот их союз против нее даже в большей степени, чем то, что она увидела прежде, перевернул

весь мир. Даже прошлое изменилось. Мюриель стала задавать себе вопросы с ужасающей четкостью. Как это началось? Долго ли продолжалось? Почему это произошло? И на что это похоже? Она чувствовала, что не сможет сейчас посмотреть в лицо Элизабет. Наверное, будут слезы, крики, стыд. А вдруг Элизабет останется холодной? Предположим, она поведет себя, как Карел? До чего же они похожи, подумала Мюриель впервые в жизни.

Она взяла икону инстинктивно, но сейчас видела в ее присутствии какой-то знак. Икона совершила свое таинственное путешествие, а теперь вернулась назад и приведет ее к Юджину. У нее оставалась единственная возможность совершить значительный поступок — вернуть ему икону. Когда она представила, как отдает ее Юджину, разразившись затем потоком слез, она наконец почувствовала каждой клеточкой своего тела, как она несчастна.

— Мюриель, что с тобой? Я говорю тебе, а ты не слушаешь.

— Ты сказал, что твоего отца нет?

— Он пошел в магазин, но скоро вернется. Послушай, мы не можем говорить здесь, давай поднимемся в твою комнату.

Мюриель повернулась и стала подниматься по ступеням. Она вошла в свою комнату, включила свет и чуть не закрыла дверь перед носом Лео. В комнате было ужасно холодно. Здесь редко разводили огонь, так как большую часть времени Мюриель проводила у Элизабет. Она села на кровать и закрыла лицо руками.

— Что случилось, Мюриель?

— Ничего. Что ты хотел сказать?

— Ну, две вещи. Во-первых, я должен признаться, что попал в ужасную переделку. Дело в том, что… старик Маркус… ну, ты, наверное, уже догадалась, что я ходил к Маркусу за деньгами, чтобы выкупить эту проклятую икону. Но дело не в иконе. Я сказал Маркусу, что я помолвлен. Следующее, что он видит — нас с тобой, возящихся на полу. Но это наименьшая из моих проблем. Я почувствовал вину перед стариной Маркусом, так как действительно привязан к старому дураку, но не могу стать его рабом. Это было ужасно. Помнишь, я сказал, что отдам ему семьдесят пять фунтов, но потом решил, что этого недостаточно. Я должен отдать ему всю сумму, которую ему придется заплатить за икону. В итоге знаешь, что я сделал? Занял двести двадцать пять фунтов у той пожилой дамы, о которой тебе рассказывал.

Так что теперь я по горло завяз в отношениях с ней. Что ты думаешь обо всем этом?

Мюриель слушала Лео вполуха. Скоро вернется Юджин, он будет держать ее в своих объятиях и заставит ее думать, чувствовать и снова стать цельным человеческим существом. Она рассеянно сказала Лео:

— Это не очень важно.

— Что? Это ужасно важно, это унизительно. Разве ты не собираешься отделать меня за это? Я поступил ужасно!

— Почему я должна тебе верить? Ты так много лгал, твои слова мне не интересны.

— Мюриель, я сейчас не лгу, клянусь.

— Хорошо, о чем еще ты хотел сказать? Я спешу.

— О, хорошо. Оставим это. Просто я должен рассказать тебе. Второе, о чем хотел сообщить тебе, — это то, что я влюбился в тебя.

— Что ты сказал?

— Я ВЛЮБИЛСЯ В ТЕБЯ.

— Не кричи.

Мюриель встала и подошла к окну. Проходя по комнате, она увидела через приоткрытую дверцу углового буфета маленькую голубую бутылочку со снотворными таблетками. Слегка раздвинула

занавески. Оконное стекло изнутри покрылось морозным узором, тонким, как папиросная бумага, а за ним — тьма. Она вздрогнула. Страстное желание увидеть Юджина переполняло ее, как и стремление обрести место, где она могла бы поплакать. Она тяжело вздохнула и прижалась головой к стеклу. Твердые крупинки холодного инея впились ей в лоб.

— Кажется, ты не очень-то довольна, — заметил Лео. — Но это всецело твоя вина. Ты взволновала меня рассказами об этой девушке. А затем все закончилось таким фиаско, да еще заявился старик Маркус. А что ты увидела через щель в стене? Ты была полна решимости не дать мне посмотреть.

— Я же сказала тебе, — ответила Мюриель, — она была раздета. Ну, не совсем раздета, на ней был хирургический корсет.

— Что?

— У нее болит спина, и она вынуждена носить своего рода металлический футляр, который поддерживает ее позвоночник.

— Почему ты не рассказала мне об этом раньше?

— Думала, это может оттолкнуть тебя.

— Это оттолкнуло бы меня. Кроме того, я не влюблен в нее, не так ли? Я мог бы возбудить дело

против тебя.

— Я ввела тебя в заблуждение, — сказала Мюриель. — Извини. В действительности она даже не очень красивая.

— Я не понимаю тебя, Мюриель. Большинство девушек старается удержать парней для себя, а ты хотела отдать меня. Так или иначе, ты получила меня теперь. И что ты будешь со мной делать?

Мюриель повернула голову. Казалось, ее лоб начал примерзать к окну. Она сделала шаг назад. Ледяная вода стекала ей на глаза. Она вытерла лицо рукой и посмотрела на Лео. Он стоял сгорбившись в своем пальто с высоко поднятым воротником, глубоко засунув руки в карманы. Его нос покраснел от холода, а маленькая, как будто покрытая мехом, головка, высовывалась из воротника, как животное, выглядывающее из норы. Ноги в узких выцветших джинсах казались слабыми и тонкими, как у паука. «Какой он маленький», — подумала Мюриель и сказала:

— На самом деле ты не влюблен в меня. Забудь об этом. На минуту воцарилось молчание. Мюриель неловко терла свой замерзший лоб окоченевшей рукой. Лео медленно, низким голосом произнес:

— Кажется, ты не совсем поняла меня. Это се-

рьезно. Что за идиотизм, подумала Мюриель. Она едва могла сосредоточиться и с трудом произнесла:

— Извини, я не могу любить тебя. У меня достаточно своих забот. Ты слишком молод. И я люблю другого…

Было ли это правдой? Произнесенные вслух слова, казалось, обратились в правду.

— Я не верю тебе, — ответил Лео.

— А теперь я должна идти, — сказала Мюриель. — Пожалуйста, забудь обо всем этом.

Она направилась мимо него к двери.

— Подожди, моя девочка, — позвал Лео. — Я уже сказал тебе, это всецело твоя вина. Теперь тебе тоже придется немного пострадать.

— Пожалуйста, уйди с дороги.

— Может, ты не понимаешь английского языка. Я сказал, что люблю тебя. Это как болезнь, Мюриель, разве ты не знаешь? Хочешь послушать, как бьется мое сердце? Неужели ты действительно думаешь, что я позволю тебе уйти, не прикоснувшись ко мне?

— Лео, пожалуйста, у меня неотложное…

— Это может подождать. Я люблю тебя, Мюриель. И ты поймешь мою любовь. И ты полюбишь меня. Мне хотелось найти особенную девушку.

Такую, как ты.

Он схватил Мюриель за руку и крепко сжал.

— Отпусти, ты делаешь мне больно.

— Так-то лучше. Теперь ты сядешь, а я расскажу, какая ты удивительная и необычная.

Лео подтолкнул Мюриель, и она тяжело опустилась на кровать. Он наклонился к ней, просунув одну руку под колени, и она ощутила холодное прикосновение его руки к своей ноге выше чулка. Она стала отбиваться, но его другая рука, крепко прижатая к ее плечу, заставила ее неловко откинуться к стене.

— Шалунья, шалунья, ты сопротивляешься. Я скажу еще одну приятную вещь о тебе, Мюриель. Ты девственница. Я знаю. Мужчины всегда знают. Вот видишь. А теперь поцелуй меня. В прошлый раз ты сделала это неплохо.

Он потянулся к ней.

Мюриель захотелось плакать от слабости и отвращения. Она сидела неподвижно, словно заточенная в его объятия, отвернувшись от него. Страдания ее тела достигли своего пароксизма. Она сказала негромким, но ясным голосом:

— Не прикасайся ко мне. Я люблю твоего отца.

Когда Мюриель выходила из дверей своей комнаты, она подумала: «Но где же икона?» И тут же

вспомнила, что оставила ее внизу, в холле, на боковом столике. Охваченная приливом энергии, она сбежала по ступеням. Теперь она поспешит прямо к Юджину, как к своему спасению, и сделает его счастливым и благодарным. Чудесное возвращение иконы соединит их. На этот раз право на слезы будет принадлежать ей, и в этих слезах мир возродится. Если она сумеет коснуться Юджина и ей удастся произнести хоть единое слово о своем состоянии, она автоматически освободится от них.

Мюриель замерла посередине холла. Иконы там не было. Она приблизилась к столу. Здесь ли она оставила ее? Она была уверена, что здесь. Икону как будто слизнуло языком пламени. Она исчезла. Тщетно и беспомощно Мюриель осматривала пол, заглядывая под стулья. Икона пропала, потерялась, ее снова украли… Это ее вина. Вещь была в ее руках, как она могла совершить такое безумие — оставить ее хоть на секунду? Она посмотрела на входную дверь. Та была закрыта. Может, отец спустился и забрал ее назад в свой кабинет?

— Что вы ищете? — спросила Пэтти.

Ее темное лицо выглядывало из-под лестницы. Позади нее была раскрыта кухонная дверь.

Мюриель медленно прошла мимо Пэтти в кухню и уныло произнесла:

— Я кое-что оставила на этом столе.

— А, эту картину, — сказала Пэтти. — Икону Юджина. Да, я нашла ее и отдала ему.

— Ты отдала ее ему?

— Да, конечно. Что же еще мне было с ней делать?

— Но она была моя! — голос Мюриель перерос в крик. Ее руки загребали воздух. — Ты должна была оставить ее там, где увидела. Не твое это дело. Я собиралась сама отдать ее.

— Что ж, теперь это уже невозможно, — сказала Пэтти. Она повернулась к Мюриель спиной и начала помешивать суп в кастрюле, дымившийся на горячей плите.

— Ты знала, что она моя!

— Ничего я не знала, — возразила Пэтти. — Так или иначе, она не твоя. Я просто нашла ее здесь. Тебе не следовало бросать ее где попало. Ее могли снова украсть.

— Ты сделала это нарочно. Я нашла ее, я так хотела отдать ее ему. Ты нарочно забрала ее у меня.

— Не надо ребячиться, — сказала Пэтти, — какая разница, кто отдал икону, раз он наконец

получил ее назад. — Она продолжала размешивать суп, затем добавила: — Он так обрадовался.

Истерия овладела Мюриель. Она издала пронзительный жалобный вой, который, казалось, вырвался не изо рта, а исходил от всего ее существа. Она закричала на Пэтти:

— Послушай меня!

— Не кричи так ужасно, — сказала Пэтти. — Кто-нибудь услышит.

— Послушай меня, черт тебя побери!

— Убирайся из моей кухни, — сказала Пэтти, повернувшись и уперев руки в бока.

— Это не твоя кухня. Ты всего лишь обыкновенная служанка. И не забывай об этом.

— Ах ты, маленькое отродье, — бросила Пэтти, начиная поднимать голос, — убирайся отсюда, пока я тебя не отшлепала.

Мюриель стала наступать на попятившуюся Пэтти.

— Не смей прикасаться ко мне, Пэтти О'Дрисколл. Я разорву тебя на куски.

Мюриель взяла за ручку кастрюлю с супом:

— Прекрати, ты отвратительная, плохо воспитанная маленькая обезьяна! Говорю тебе, убирайся из моей кухни!

— Ты убила мою мать, — сказала Мюриель. —

Ты убила мою мать, черная сука из преисподней.

Пэтти, все еще пятившаяся, теперь остановилась и оскалила зубы. Оба ряда зубов сверкали. Она выкрикнула:

— Ты не дала своему отцу жениться на мне. Ты разрушила всю мою жизнь. Я ненавижу тебя за это. И всегда буду ненавидеть.

Мюриель взмахнула тяжелой кастрюлей. Пэтти закричала, когда горячий суп выплеснулся коричневым потоком. Большая часть супа вылилась на пол, но немного попало на чулки и фартук Пэтти. Пэтти продолжала пронзительно кричать. Мюриель швырнула пустую кастрюлю через кухню.

Вошел Карел, а за ним Юджин. Крики Пэтти превратились в рыдания. Карел оценил происходящее и обратился к Мюриель:

— Чем скорее ты оставишь этот дом, тем лучше. Позаботься об этом.

Затем он обратился к Пэтти:

— Успокойся, Пэтти, мисс Мюриель скоро покинет нас. Мы должны попытаться быть добрыми к ней в оставшееся время. Ну, ну, не плачь, моя Пэттикинс. Тебе же не очень больно, не правда ли?

Карел обнял рыдающую Пэтти.

Мюриель прошла мимо Юджина и вышла из

кухни.

Глава 19

Маркус Фишер пребывал в состоянии приближающегося экстаза. Он уютно устроился перед ревущим огнем в гостиной Норы Шэдокс-Браун. Занавески были задернуты, чтобы не впускать серый, как сталь, полуденный свет. Под мягким освещением лампы ирландская льняная скатерть была усыпана золотистыми крошками от торта Мадейра. Маркус поставил пустую чайную чашку на тарелку, испачканную клюквенным желе, хотя Нора часто просила его так не делать. Он сказал:

— Но самое главное — его серьезность, его страсть. Нора наклонилась и поставила чашку Маркуса назад на его блюдце.

Она сказала:

— Ничего из того, что ты рассказал, не убеждает меня в его серьезности. Он или безумен, или насмехается над тобой.

— О, ты не понимаешь!

Маркус чихнул.

— Ну вот, я же говорила, что у тебя начинается простуда.

— У меня не начинается простуда.

Маркус сделал все от него зависящее, чтобы описать Норе свою встречу с Карелом, испытывая соблазн считать ее неким мистическим явлением. Объясняя аргументы Карела, он слегка исказил картину, представив ее как спокойную дискуссию двух братьев, в которой он играл свою роль. Это не было полностью обманом — в ходе дискуссии Маркус много думал об ответах, пока Карел говорил, или по крайней мере анализировал их впоследствии. Чего он не сказал Норе, так это того, что Карел ударил его. Этот удар был чем-то слишком личным. Нора не смогла бы понять его, она бы восприняла его как новое доказательство неуравновешенности Карела. Тогда как на самом деле этот удар был задуман для его просвещения. И более того, позднее все взвесив, Маркус стал думать, что это знак любви. Брат заставил его существовать, хотел, чтобы он был в минуту их напряженной близости друг к другу. Любовь — имя такой близости.

Маркус должен был признаться, что находится сейчас в состоянии, которое можно определить только как влюбленность в Карела. Сначала он был ошеломлен необычным красноречием и слишком потрясен ударом, чтобы осознать это.

Но когда он, выйдя на улицу, брел по сильному вечернему холоду, все его существо, казалось, обновилось. Он как будто излучал тепло и свет, ощущая счастье, которое, казалось, било ключом прямо из его головы, заставляя глаза смотреть изумленно, а губы — раздвинуться в глуповатой улыбке. Состояние было настолько непроизвольным, что он сначала просто не мог понять его, затем догадался, что оно в какой-то мере вызвано тем, что Карел ударил его. Потом окруженный ореолом образ Карела вырос перед ним и с тех пор поглотил его.

Когда он возвратился домой в свою комнату в Эрлз-Корт, то обнаружил, что все его тревоги исчезли. Он осмотрел комнату, как электротехник, ищущий дефекты проводки. Она изменилась — как будто из нее убрали какой-то зловещий, затянутый паутиной мусор. То, что делало тусклым свет, то, что стояло в углу и пугало его, исчезло. Маркус заполнил комнату светом своего нового существа, Маркус и комната плыли над Лондоном, как яркий воздушный шар. Он стоял посреди комнаты и смеялся.

Маркус был прав, когда представлял, что откровенный разговор с Карелом прогонит кошмары прочь. Даже его беспокойство по поводу Элизабет

прекратилось. Бедная невинная Элизабет, как бы она огорчилась или позабавилась, если бы узнала, что в воображении Маркуса превратилась во внушающую священный ужас маленькую богиню! Немощь его разума создала этот образ, который теперь исчез. Сейчас он снова мог думать с сочувствием и привязанностью о ребенке, которого он знал, и о больной девушке, которую должен скоро увидеть. Из нескольких случайных совпадений он вообразил тайный сговор. Почему Элизабет должна принимать его в любое время, когда он надумает зайти, почему она должна сразу же отвечать на его записки? Было совершенно очевидно, что она больна. Ему следует быть более внимательным к ней. Конечно, Карел все еще больше усложняет своими манерами таинственного отшельника. Безусловно, он трудный, но и всегда был трудным. Маркус лег спать и видел счастливые сны, где благожелательный образ казался наполовину Карелом, а наполовину — младшим братом Джулианом, которого он так любил в юности. Даже его отношения с Лео выиграли от такого просветления. В глубине души Маркус определенно начал беспокоиться о Лео. То, что его немного волновал Лео, само по себе не удивляло и не огорчало его. Он часто страстно

увлекался своими учениками, но ему всегда и довольно просто удавалось держать это в тайне. Его беспокоило то, что Лео явно знал об этой слабости. А также Маркуса мучило подозрение, что Лео не только готов эксплуатировать его, но делал это насмешливо и без всякой привязанности. Маркуса — особенно после их последнего разговора — стала беспокоить мысль, что же думает о нем Лео. Он был готов, чтобы его эксплуатировали, по-своему ему это даже нравилось, это было как бы частью обязанностей любого учителя. Но здесь Маркус чувствовал, что его достоинство подвергается опасности, а он дорожил своим достоинством. Одновременно его беспокоило то обстоятельство, что после всех этих недавних приключений его привязанность к мальчику еще возросла. Маркус все более нуждался в дружбе с Лео и почти не видел пути, как ее достигнуть.

Тем не менее на следующий день после его столь важной встречи с Карелом у него состоялось вполне удовлетворительное свидание с Лео. Молодой человек позвонил ему в Эрлз-Корт и позже зашел. К огромному удивлению Маркуса он принес с собой триста фунтов, цену иконы, и положил их на стол. Когда Маркус подробно расспросил его, как он достал деньги, он при-

знался, что в прошлый раз солгал ему. История о помолвке с девушкой, отец которой требовал достать семьдесят пять фунтов, была полностью выдуманной. На самом деле он приобрел очень дорогой мотоцикл, за который заплатил только часть, и в отчаянии продал икону, чтобы расплатиться сполна. Он не сказал это Маркусу из страха, что тот станет настаивать на продаже мотоцикла. Сохраняя суровое выражение лица, Маркус согласился, что он действительно стал бы настаивать на этом. Испытывая угрызения совести, Лео продал машину за очень хорошую цену, взял вырученную сумму в «Уайт сити», где удачно поставил на собаку. Вот почему он мог теперь отдать Маркусу взятые в долг триста фунтов. Лео также самым очаровательным образом передал огромную благодарность от своего отца за большую доброту Маркуса к ним обоим.

Маркус скрыл свое удовольствие, вызванное провалом изобретательной попытки Лео солгать ему и его откровенным признанием. Маркус сурово прочел юноше нотацию о том, как важно быть правдивым, и бросил несколько слов об опасностях азартной игры. Затем он перешел к обсуждению будущего Лео и убедительно доказывал, что тому следует бросить технический

колледж, вернуться к их с Маркусом прежнему замыслу и закончить университет по специальности французский и русский языки. Маркус даже предложил, если Лео решится на такую перемену, ассигновать эти триста фунтов, которые тот так своевременно возвратил ему, как своего рода образовательный фонд, необходимый мальчику, чтобы преодолеть финансовые трудности, связанные с переменой учебного заведения. Лео, проявляя сдержанность, слушал серьезно и с благодарностью и наконец сказал, что обдумает этот вопрос. Они простились теплым рукопожатием, и Маркус сделал вывод, что ошибался, думая, будто Лео не испытывает привязанности к нему. Мальчик явно любил его. Теперь, когда Лео вырос, они могли стать друзьями.

— Ты кажешься вполне довольным собой, — заметила Нора. — Еще чаю?

— Нет, спасибо.

— Насколько я поняла из твоей искаженной версии тирады Карела, он заявляет не только, что нет Бога и человеческая жизнь бессмысленна, но также, что непрочное царство морали само по себе иллюзия и теперь тоже приближается к концу и впредь человечеству суждено стать жертвой безответственных психологических сил, которые

твой брат колоритно назвал ангелами. И эти, как мне кажется, довольно мрачные новости, похоже, вознесли тебя на седьмое небо от наслаждения. Интересно — почему?

Маркус покачал головой.

— Ты не понимаешь, — сказал он. — Это отчасти от того, что Карел говорит правду, а правда всегда немного подбадривает, даже когда она ужасна. Кант понимал это. В его словах присутствует своего рода надежда, хотя и трудная. Он сам это видел, но в то же время и отрицал.

— Идея о том, что правда всегда подбадривает, кажется мне романтической глупостью, и меня удивляет, что ты приписываешь ее Канту. Если бы мне завтра сказали, что у меня неизлечимый рак, я не испытывала бы бодрости. Но о какой надежде ты говоришь?

— Ну, я полагаю, что в действительности обе эти идеи составляют одно. Ситуация ужасна, но, несмотря на это или, возможно, благодаря этому… я хочу сказать, человеческий дух может отреагировать.

— Иногда может, иногда — нет. Сигарету?

— Спасибо. Конечно, Карел прав, когда говорит об абсурдном оптимизме всей философии, вплоть до нашего времени, и он прав, что люди,

делающие вид, будто обходятся без идеи Бога, в действительности так не думают. Нужно научиться жить, отказавшись от идеи о том, что Добро является в какой-то мере Богом. Это трудно.

— Что ж, ты получил философское воспитание, а я нет, — сказала Нора, — но я не вижу причины ни подтверждать, ни отрицать, что Добро — это Бог. Я все еще обязана платить по своим счетам. Привычная мораль существует и всегда будет существовать, что бы ни говорили философы и теологи.

— Интересно, — задумчиво произнес Маркус. — Интересно, у тебя здравый смысл занял место веры. Я по-своему завидую тебе.

— Нет, не завидуешь. Ты ощущаешь свое превосходство надо мной. Во всяком случае таких, как я, — большинство, слава Богу.

— Большинство в конечном итоге живет за счет избранного меньшинства.

— В конце концов, большинство решает, кто является избранным меньшинством. Я не намерена беспокоиться, потому что такой человек, как Карел, потерял самообладание. И я бы сказала то же самое, если бы считала его гением, а не бедным безумцем, нуждающимся в нескольких

сеансах электрошока.

Был ли Карел безумен? — снова спросил себя Маркус. Он мог знать правду, даже если и был безумен. Какая страсть! Маркус теперь осознал, что никогда не видел такого духовного океана, в котором его брат, по-видимому, потерпел кораблекрушение. Хотелось бы ему разделять твердую веру Норы в мир здравого смысла. Или, скорее, она была права — он не хотел этого.

— Разговор с Карелом разрушил твою книгу? — спросила Нора.

— Да.

После разговора с Карелом, полностью приняв его позицию, Маркус понял, что его книга не годится. Она была, как выразился Карел, наивной теологией. Конечно, он напишет другую — лучше, правдивее, с настоящей страстью. Но эта бесполезна. Его версия онтологического доказательства не возымеет действия.

— Ангелы встали на пути, — сказал он.

— Ты скоро станешь таким же сумасшедшим, как и твой брат, — сказала Нора.

Маркус припомнил слова Норы о сумерках умирающей мифологии, сводящих людей с ума. Однако если человек прошел достаточно далеко по этой дороге, то должен быть выход. Или это

«должен» — всего лишь старая иллюзия, неизбежно повторяющаяся? Но может, исчезновение Бога сделает наконец возможной настоящую добродетель, ту добродетель, которая хороша сама по себе без всякой выгоды? Или Карел прав, что это настолько недостижимый идеал, что мы не можем даже дать ему имени? Неужели не было ответа Карелу? Разве нет ничего одновременно доброго и реального?

— Все-таки что ты собираешься делать с Карелом? — уже в который раз задала все тот же вопрос Нора.

Маркус глубоко вздохнул.

— Спасти его, — ответил он.

— Спасти его? Как, скажи на милость?

— Любовью, — сказал Маркус. Теперь ему стал ясен ответ. Его великая книга будет не о добре, а о любви. Если дело касается любви, онтологическое доказательство возымеет действие. Потому что любовь — реальное человеческое чувство. Он спасет своего брата любовью к нему и заставит Карела признать реальность любви.

— Интересно, а Любовь — Бог? — спросил он у Норы.

— Маркус, я действительно думаю, что ты сходишь с ума, — сказала Нора. — И вот ты опять

обчихал весь стол.

Глава 20

Юджин Пешков проснулся, включил электрический фонарь и посмотрел на часы. Еще рано вставать. Он повернулся и стал медленно погружаться в серую призрачную пелену пространства и времени. Солнце ярко освещает огромный луг, поросший высокой травой. Красноватые цветы на тоненьких стебельках отбрасывают подвижный розовый свет на зеленую траву, которую тихо колышет теплый ветер. Единственное дерево, береза, стоит посередине луга, ее тонкий ствол изящно изгибается на фоне полупрозрачной легкой зелени. Маленькая белая собачка все лает и лает.

Дама в полосатом платье появляется из золотистой дымки в лучах света. Платье ее — в узкую белую и зеленую полоску, а по кромке проходит темная полоса там, где оно касалось пыльного пола веранды. «Dickory, dickory dock, the mouse ran up the clock![16]

Юджин смеется и пытается приподнять юбку.

---

[16] Примечания: 16

Дикори, дикори, док, мышка взбирается на часы (англ. детская песенка).

Он — маленькая мышка, которая взбирается на часы. Он немного приподнимает край юбки. Под ней серая шелковая нижняя юбка с тяжелой бахромой. Он поднимает бахрому. Под ней еще одна юбка, сделанная из кремового кружева. Он протягивает руки, чтобы поднять ее. Под ней еще одна юбка — белая, как молоко, а ниже — еще одна. Теперь Юджин, протискиваясь, издает резкие крики. Он почти задохнулся в гардеробе, из которого, кажется, нет пути назад, а только вперед и вперед. Он пробирается через лес облегающих легких платьев, пахнущих старыми духами. Платья сдавливают со всех сторон, вот-вот они задушат его. Он уже не может дышать. Задыхаясь, он видит свою мать, плачущую в комнате, в Праге. Ее тонкое серое платье протянулось длинным шлейфом, заполняя собой комнату. Маленькая белая собачка все лает и лает.

Юджин проснулся и обнаружил, что зарыл лицо в подушку. Он пытался удержать в памяти конец сна и мельком увидел залитый солнцем луг, веранду загородного дома под Петербургом, затем они пропали. Даже это стерлось из его памяти, хотя он вспомнил их секундой раньше. Он знал, что сон как-то связан с его английской гувернанткой, мисс Элисон, но не мог припом-

нить ничего из того, что произошло во сне. Мисс Элисон всегда присутствовала в доме. Чопорное создание, она передвигалась очень медленно и тихонько вскрикивала, если происходило что-то неожиданное: прыгала ли собака, выбегал ли откуда-то ребенок. Он стал разговаривать по-английски с мисс Элисон, как только научился говорить. Она учила его английским детским стишкам, которые напевала ему высоким тонким голосом, отбивая ритм пальцем. И она ввела его как-то в новый мир недоумения и страха, когда он однажды застал ее неудержимо рыдающей в своей комнате. Он впервые увидел, как плачет взрослый человек. Раньше он вообще не думал, что взрослые могут плакать, не говоря уже о том, чтобы плакать таким образом. Он тогда тоже в ужасе громко зарыдал. Если взрослые могут так плакать, значит, нет покоя в мире. В тот момент он не думал о причине ее слез. Возможно, она просто испытывала тоску по дому и одиночество, маленькая потерянная английская леди в грубом чужом мире, который едва ли замечал ее. Она немного говорила по-французски, но так и не выучила русского. Она сопровождала семью во время их бегства в Ригу, а там села на корабль, отправляющийся в Англию. Возможно ли, что

она еще жива? Юджин никогда не имел ни малейшего представления о ее возрасте. Ей могло быть двадцать, тридцать, сорок… Скорее всего, она умерла.

Юджин встал и включил свет. Опять он опоздал. Так трудно просыпаться зимой. Он быстро оделся. Когда одевался, его взгляд упал на расписную русскую шкатулку, стоявшую на столе. Шкатулка имела какое-то отношение ко сну, с ней было связано что-то очень печальное, заставившее его плакать, но он все еще не мог припомнить, что именно. Он пристально смотрел на шкатулку, напрягая свой ум, рассеянный и восприимчивый, но ничего не мог вспомнить. Затем перевел взгляд на икону и улыбнулся. Он очень ясно увидел маленькую овальную картину — икону в комнате матери в Петербурге. Тогда она находилась в тяжелой черной деревянной раме, оттененной золоченым прямоугольником. Под рамой находился рожок для лампы, но мать Юджина, чья набожность смягчалась любовью к objets d'art[17], особенно принадлежащим ее семье, никогда не позволяла зажигать лампу, чтобы дым не испортил икону. Вместе с образом

---

[17] Примечания: 17
Предметы искусства (фр.).

иконы в тяжелой темной раме явилось смутное видение матери, мягкой и нежной как голубка. Ее пушистые светлые волосы заколоты в высокую корону, тонкое серое платье, или это халат, ниспадает небрежными складками, отбрасывая тень вокруг ног.

Это было чудо, что икона вернулась и что принесла ее Пэтти. Ему казалось, будто икона сама решила, как все выйдет. Она совершила таинственное путешествие, а теперь вернулась назад к нему. Ни он, ни Пэтти не имели ни малейшего представления, как она здесь оказалась. Пэтти просто нашла ее лежащей на столе в холле и прибежала отдать ему. В действительности Юджин и не хотел знать ничего больше. Это было счастливое предзнаменование.

Знаменательное появление Пэтти с иконой завершило собой круг его удач. Пэтти заставила его поверить в счастье. Юджин хорошо знал, как опасна бывает такая вера, и это было непривычно. Но он также знал, что милосердие счастья нисходит на тех, кто верит в него. Он был равнодушен к нему почти всю свою жизнь, не считал его возможным для себя. Ему казалось, что он использовал весь отпущенный ему жизнью запас счастья в детстве до шести лет. Теперь

же он хотел счастливого будущего. И он видел, что Пэтти тоже хочет этого, и подозревал, что такое желание пришло к ней впервые. Вызвать у другого человека желание счастья — огромная ответственность. Юджин относился к этому со всей серьезностью, но с легким сердцем. Он все больше ощущал уверенность, что они с Пэтти поженятся.

Не то чтобы Пэтти ответила что-то определенное, она, скорее, пришла в замешательство и попросила его подождать и не беспокоить ее. Она сказала: «Я не могу ответить да», но ее темные чуть красноватые глаза, говорили: «Да, да, да», и она не в состоянии была устоять и не прикоснуться к нему, чтобы снять ту боль, которую могли причинить ее слова. Юджин верил ее глазам и ее рукам. Он и она были охвачены всепоглощающей тайной любви. Пока ничего определенного не было сказано, однако Юджин с каждым днем все более и более ощущал приближение Пэтти. Как медленно опускаемый груз, он чувствовал ее постоянно растущее доверие к нему. С каждым днем она открывалась все больше навстречу его любви.

Иногда ему казалось, что она чем-то обеспокоена и расстроена, он пытался помочь ей

раскрыться, но она всегда замолкала. Юджин стал размышлять о Пэтти. Она сказала, что у нее нет истории, но разве такое возможно? Пытаясь вообразить себе худшее, он предположил, что она могла иметь незаконного ребенка, когда была очень молода. Или она просто не могла преодолеть сомнение — не испытывает ли он отвращение к цвету ее кожи. Каков бы ни был этот барьер, он жаждал узнать его, для того чтобы отмести силой своей любви. Между тем эта удрученность Пэтти делала ее еще более привлекательной в его глазах. Он лелеял ее робость, ее сомнения. Не то чтобы он был уверен в ее невинности, он видел ее невинность. Она была невинной, неоткрытой Америкой, прекрасным темным континентом.

Жизнерадостность, с которой он ожидал ее решение, помогала ему вести себя с ней со спокойной, исполненной любви добротой. Любовь сделала из него художника. Он покупал маленькие подарки, придумывал угощения. Уже много лет он не делал никого счастливым. Слишком долго он жил эгоистично и тешил себя мыслью, что эта тусклая простота — его заслуга. Лео был прав, ему следовало бороться за место в английском обществе. Он же считал себя человеком не

от мира сего, и его сносило течением в бессмысленную изоляцию. Но если он попытается, то сможет наконец делать обычные вещи — он и Пэтти вместе.

Его счастье передавалось и ей, хотя она иногда, казалось, готова была нерешительно оттолкнуть его, но не могла полностью избежать его влияния. Теперь она часто пела и вела себя с ним непринужденно. С тактом, который он и в дальнейшем надеялся сохранить, он все еще подавлял в себе неистовые желания, которые часто ощущал. Ему бы хотелось схватить Пэтти, шлепнуть ее и посадить к себе на колени. Их физические контакты оставались как у влюбленных детей. Только изредка он позволял себе поцеловать ее по-настоящему или по-медвежьи крепко сжать в объятиях от восторга и радости.

Если годы отшельничества что-то и дали ему — это было особое свойство любви, которое он не решался назвать чистотой. Скорее, это похоже на новизну. Он ощущал себя мальчиком, влюбленным в первый раз. Юджин никогда по-настоящему не любил бедную Таню. Все его влюбленности остались в детстве, и до сегодняшнего дня ему казалось, что он больше не способен любить.

— Прошлой ночью мне приснилась моя английская гувернантка. Ее звали мисс Элисон.

— Ты любил ее?

— О да, я всех любил, как обычно делают дети.

— Некоторые из них.

— А тебе что приснилось прошлой ночью, Пэтти?

— Я никогда не вижу снов. Что происходило в твоем сне?

— Не могу припомнить. Кажется, это было в нашем загородном доме.

— Как назывался этот дом? Ты говорил мне.

— Он назывался Белая Долина. По-английски это White Clen или White Clade. Его так прозвали из-за берез. Видишь ли, у берез белые стволы.

— Я знаю, что у берез белые стволы, глупый! В Англии есть березы.

— Разве? Да, наверное, есть. Но я не помню, чтобы видел их в Англии. О Пэтти, ты же еще не уходишь?

— Я должна идти, а то опоздаю за покупками.

— Ты получила сахарную мышку?

— Она запрыгнула мне в карман. Может, мне надеть мои новые сапожки?

— Да, конечно. В них ты выглядишь как русская.

— Они немного узковаты. Что, если они станут по дороге тереть?

— Вот еще забота! Ты наденешь свои новые сапожки, как храбрая девочка.

— Я ненадолго.

— Осторожно переходи дороги. Купи мне что-нибудь вкусного.

— Пойдем со мной, помоги мне надеть сапожки. Пэтти и Юджин вышли в кухню. Пэтти выглядела счастливее, чем обычно, и они много смеялись.

— Позволь мне надеть на тебя сапожки. Садись сюда. Юджин встал на колени и снял потрепанные, сделанные из шотландки тапочки Пэтти. Минуту он удерживал ее теплую полную ногу в своей руке. У него было ощущение, будто он держит большую птицу. Он взял сапог, и она, вытянув носок, стала втискивать в него ногу. Сапожки, которые Юджин помог ей купить и которые они теперь так долго обсуждали, были из черной кожи, подбитой изнутри шерстью, и доходили почти до колена. У Пэтти никогда прежде не было таких сапожек.

— Они слишком узкие, я же говорила тебе.

— Ты всегда жалуешься, что туфли тебе велики!

— Но не сначала. Сперва они слишком узкие, а

затем становятся большими.

— Давай, проталкивай.

— Никак не могу просунуть.

— Ты не умеешь надевать сапоги. Все дело в том, чтобы добраться до ступни. Проталкивай.

Нога Пэтти достигла ступни сапога, Юджин почувствовал, как ее пятка твердо встала на место.

— Хорошо. Теперь другой.

После множества усилий Пэтти надела второй сапог.

— Теперь шубку. Сейчас ты настоящая русская!

Закутанная в свою кроличью шубку, с завязанным на голове шарфом Пэтти казалась почти шарообразной — такой прелестный сверток, какие можно было увидеть снежным утром на Невском проспекте. Юджин засмеялся над ней, а затем от полного счастья крепко прижал к себе и закружил. Через ее плечо он увидел стоящую в дверях кухни Мюриель Фишер. Она недоброжелательно смотрела на них обоих.

Юджин поспешно оставил Пэтти, опустив руки по бокам. Пэтти повернулась и тоже увидела Мюриель. Она поколебалась, а затем смело направилась к двери. Мюриель отошла в сторону. Юджин, пробормотав «Доброе утро», последовал за Пэтти в холл. Пэтти подошла к входной двери

и открыла ее. Обжигая руки и лица, в помещение ворвалась волна ледяного воздуха. Сегодня было не так туманно, но все же снаружи, кроме густого темно-серого света, мало что можно было рассмотреть.

— Уф, Пэтти, как холодно. Не стоит долго держать дверь открытой.

— Выйди на минуту, — попросила Пэтти.

Дрожащий без пальто Юджин вышел на ступеньку, и Пэтти прикрыла за его спиной дверь. Внезапный холод пощипывал и разрумянил их лица, они пристально смотрели друг на друга в полутьме. Их лица, как два цветка, поникли и закрылись.

— В чем дело, Пэтти? Я замерзаю.

— Я хотела сказать… О, это не имеет значения.

— Скажешь, когда вернешься.

— Я ведь вернусь, правда?

— Что ты хочешь сказать? Конечно, ты вернешься.

— А ты будешь здесь, не так ли?

— Конечно буду.

— Ты всегда будешь здесь, правда, Юджин, всегда?

— Всегда! Будь осторожна, Пэтти, и не упади в своих новых сапожках.

Пэтти скрылась в холодном полумраке утра, осторожно ступая по тротуару, на котором снег застыл серыми, как сталь, комками. Юджин вернулся в сравнительно теплый холл. Возможно, ему следовало пойти с ней. Его немногочисленные дела могли бы и подождать. Однако его порадовали ее слова. Она никогда прежде не говорила ему «всегда». Улыбаясь, он пересек кухню и открыл дверь своей комнаты. Мюриель Фишер, сидевшая у стола, встала. Юджин медленно вошел.

— Мисс Мюриель…

— Извините, — очень тихо сказала Мюриель, — могу я поговорить с вами минуту?

Юджин пристально вглядывался в лицо девушки. В первый момент ему показалось, что она гримасничает. Лицо ее сморщилось и исказилось, как будто его подвесили на крюк. Мюриель всегда была неприятна ему своей мертвенной бледностью. Теперь же она напоминала испытывающего муки демона, и он отпрянул от нее.

Юджину никогда не нравилась Мюриель, она казалась ему неженственной и холодной. Он отождествлял ее в своих мыслях с мисс Шэдокс-Браун и определял их как тип тонких, резких, умелых англичанок, которые имеют добрые

намерения, но не могут удержаться от покровительственного отношения к окружающим. Какая-то чрезмерная самоуверенность делала таких женщин неизмеримо более высокомерными, чем мужчины. Юджин, все еще очень чувствительный к тону и акцентам, с которыми общество обращалось к нему, всегда замечал легкий оттенок пренебрежения среди видимой сердечности. Мюриель расспрашивала его о прошлом с дотошной доскональностью, не казавшейся ни состраданием, ни даже любопытством. Он почувствовал, что Мюриель просто хочет определить его место, чтобы иметь возможность обращаться с ним надлежащим образом.

Принесенная в подарок русская шкатулка только расстроила его. Он простил шкатулку, но не Мюриель. Этот поступок показался ему унизительным или бесцеремонным, и в любом случае обидным. Выбор именно этого подарка был вмешательством в его личную жизнь и в тайну, о которой она не могла ничего знать. То, что она посредством этого неловко прикоснулась к обнаженному нерву из его скрытого прошлого, повлияв на него таким странным образом, что он сам не мог понять, нанесло ему дополнительное оскорбление. Его возмущало то, что она стала

свидетельницей его слез, возмущало ее грубое обращение с Лео в его присутствии, как будто она обладала такой властью над сыном, какой не было у отца. Он быстро понял, что она враг Пэтти. А после безобразной сцены с кастрюлей супа стал считать, что девушка и отвратительна, и опасна.

Теперь Юджин обрел равновесие. Он решил, что Мюриель пришла пожаловаться на какой-то проступок Лео.

— Закройте, пожалуйста, дверь, — попросила Мюриель.

— В чем дело, мисс Мюриель?

Мюриель снова села. Она пристально смотрела на него, приоткрыв рот, уголки губ опустились, узкие глаза пылали на ее похожем на маску лице.

Юджин, испытывая тревогу, пробормотал:

— Наверное, вы хотите… что-то не так… Надеюсь, Лео…

— Мне нужна ваша помощь, — сказала Мюриель замогильным голосом. Ей было трудно говорить.

— Извините, я не понял.

Мюриель с трудом сглотнула, схватилась за скатерть и склонила голову, на секунду зажмурив глаза, так что лицо сложилось в гримасу. Затем

она сказала:

— Я нашла вашу икону. — Что?

— Я нашла вашу икону и принесла ее назад. Пэтти просто подобрала ее в холле. Я должна была принести ее вам.

— Значит, она была у вас? Откуда вы ее достали? Что вы имеете в виду?

— Все это слишком сложно. Говорю вам, я нашла ее. Я как раз собиралась принести ее назад, но Пэтти украла ее.

— Украла ее? Боюсь, я не понимаю, о чем вы говорите, — сказал Юджин. «Она опасна», — подумал он про себя, бросив на нее враждебный взгляд.

Мюриель смотрела на него пронизывающим, горящим взором. Ее лицо, казалось, выражало ненависть. Она спросила:

— Когда же свадебные колокола зазвонят для вас с Пэтти?

Юджин почувствовал гнев, как будто маленькое красное пятнышко разрасталось в поле его зрения. Он сказал:

— Я думаю, это наше дело, Пэтти и мое. — Итак, вы поженитесь? Вы влюблены? Та счастливая сцена, что я наблюдала на кухне… — Оставьте, пожалуйста, нас в покое. Что вы хотели сказать?

Пожалуйста, скажите это поскорее и оставьте меня, я должен заняться работой.

— У вас нет работы, — сказала Мюриель. Она откинулась на спинку стула. Лицо ее внезапно разгладилось и стало жестким и холодным, как слоновая кость, как алебастр. Она подняла глаза на икону, затем сказала: — Полагаю, вам следует узнать одну-две вещи о Пэтти. Пророческий страх сжал сердце Юджина.

— Я не хочу разговаривать с вами…

— Только послушайте. Вы, конечно, поняли, что Пэтти — шлюха моего отца?

Взгляд Мюриель снова медленно обратился к Юджину Ее глаза стали теперь огромными и пугающе спокойными.

Юджин в изумлении смотрел на нее. Он попытался заговорить:

— Я не хочу… Я не…

— Она уже много лет любовница моего отца, — продолжала Мюриель медленно и четко, как будто читая лекцию. — Она отняла отца у моей матери и довела мать до отчаяния и смерти. С тех пор она в распоряжении отца. И на прошлой неделе они занимались любовью на полу его кабинета, в прошлую пятницу, днем. Я все слышала. Просто спросите Пэтти, и увидите, что она

скажет.

Юджин положил руку на сердце. Он прижал ее очень крепко к груди и проглотил какой-то черный комок, поднявшийся изнутри. Он попытался заговорить, но слова, как маленькие сухие пучки соломы, шуршали и хрустели у него во рту.

— Это неправда.

— Просто спросите у нее.

— Пожалуйста, уходите.

Уверенность спала с нее, и она стала тонкой, холодной и жесткой, как иголка. Он едва ли видел, как она выходила за дверь.

Глава 21

— Извини меня, дорогая, это опять Антея. Мне очень жаль, что приходится проявлять такую настойчивость.

— Он не примет вас.

— Я только хотела объяснить тебе…

— Он не примет вас. Разве вы не понимаете английский язык?

— Если мне позволят проявить немного критики…

— Уходите.

— Я поняла, что отец Карел болен…

— Занимайтесь своими делами.

— И епископ…

— Замолчите и уходите.

— Но, Пэтти, видишь ли, отец Карел…

— Для вас я мисс О'Дрисколл.

— Но, Пэтти, моя дорогая, я все знаю о тебе…

— Нет, не знаете. Никто ничего не знает обо мне, никто.

— Бедняжка Пэтти, я вижу, у тебя какие-то неприятности. Может, ты расскажешь мне…

— Убирайся, надоедливая сука. Убери свою

проклятую ногу из дверей.

Снова заливши слезами, Пэтти толкнула изо всех сил.

Персидский ягненок отступил. Миссис Барлоу в коричневатой дымке на кромке серого замерзшего снега продолжала увещевать. Дверь захлопнулась.

Пэтти, направлявшаяся в комнату Мюриель, вернулась в пустой холл и мгновенно забыла о происшествии. Страдание наполняло ее до краев. С поникшей головой поднималась она по ступеням. Потеряв тапочку у верхней площадки, она не остановилась, чтобы поднять ее.

Юджин отверг ее. Она не смогла не сказать ему правды, или не признать правдой то, что он уже знал. Она попыталась объяснить, что та прошлая пятница была исключением, это произошло только однажды, и подобного очень давно не было. Но говорить о дате или вообще о случившемся было губительно для нее. Когда она, запинаясь, что-то забормотала, стараясь объяснить случившееся, то обвиняла себя. Разрушительный демон отчаяния, казалось, выскочил из ее рта. Никакие пояснения не имели значения. Она была грязной, недостойной, чернокожей и принадлежала другому — все это правда. Если бы даже Карел не

овладел ею тогда, он мог взять ее в любой час, в любую минуту. Ее воля принадлежала ему. Он был Господь Бог, а она — покорной и безмолвной почвой, полностью подчинившейся ему. Пэтти поняла, насколько безнадежно она принадлежала Карелу, когда услышала мучительные и безжалостные вопросы Юджина. Ее давным-давно купили и выкупить теперь не представлялось возможным.

Нельзя сказать, что Юджин не смог бы простить и навсегда отвернулся от нее или что он недостаточно добр, чтобы вырвать ее из этого места, к которому она привязана, дело было в том, что она действительно принадлежала этому месту. Ни его нежность, ни даже милосердное обручальное кольцо уже ничего не меняли. Ее ноги не могли побежать ему навстречу, невинность их отношений оказалась подделкой. Пэтти даже не обращалась к Юджину. Он отвернулся от нее, и она отпустила его. Это был конец.

Она поняла, что сделала Мюриель, когда увидела лицо Юджина. Предательство Мюриель теперь казалось ей неизбежным. Могла ли она предотвратить его какими-то своими словами, вырвать их жало? Это казалось невозможным, так как в своем признании она бы выглядела

неприкасаемой и вероломной. В разговоре с ним ей пришлось бы признаться себе в невозможности любви к нему. Когда она отчаянно рыдала в своей комнате, ненависть к Мюриель, казалось, существовала самостоятельно, разрасталась сама по себе рядом с ней, как огромное черное растение. Она обвиняла себя. Но Мюриель была ей ненавистна. Когда она встала и направилась к Мюриель, она почувствовала своего рода облегчение, будто беседа может принести ей утешение.

Мюриель сидела в кресле в своей спальне, закутавшись в пальто. С отсутствующим видом она крикнула Пэтти, затем снова уставилась прямо перед собой, выдыхая с легким свистом воздух. В ледяной атмосфере изо рта вырывалось небольшое облако пара. Занавески были отдернуты, и оконное стекло за ее спиной сплошь покрылось морозным узором, едва пропускавшим тусклый утренний свет, так что в комнате царил полумрак.

Пэтти села на кровать. Физическое присутствие Мюриель, как всегда, пугало ее. Она чувствовала себя опустошенной, несчастной и испытывала только желание горько плакать. Со слезами в голосе она сказала:

— Зачем ты так поступила со мной?

Мюриель молчала. Казалось, она не слышала. Немного погодя, как будто обдумав все, она ответила:

— Теперь я сожалею. Но это не имеет значения. Пэтти, дрожа от холода, сказала:

— Это было зло.

После такого же долгого молчания Мюриель рассеянно произнесла:

— Возможно.

Она продолжала сидеть неподвижно, засунув руки в карманы, глядела в пространство и с присвистом дышала.

— Я ненавижу тебя, — сказала Пэтти.

Ей хотелось прикоснуться к Мюриель, схватить ее, ударить, но она не могла встать с кровати.

Мюриель пошевелилась, скрестила ноги и посмотрела на Пэтти с выражением иронического любопытства.

— О, заткнись, Пэтти. Не плачь. Мы в известном смысле в одной лодке.

— С тобой все в порядке. Ты просто по злобе сделала так, чтобы причинить мне боль. Я могла бы выбраться отсюда и стать счастливой, но ты намеренно все испортила. Ты мне отвратительна. Я готова убить тебя.

— О, перестань. Разве ты не видишь, что я по-

терпела полное крушение.

Пэтти всмотрелась в ее ровное, спокойное лицо:

— Что ты хочешь сказать? С тобой все в порядке.

Мюриель задумчиво смотрела на Пэтти, все еще держа руки в карманах. Она спросила:

— Ты знаешь, что отец велел мне убираться отсюда и жить в другом месте?

— Я слышала, как он это сказал.

— Ты знаешь почему?

Пэтти, слышавшая эти слова Карела, тотчас же с удовольствием истолковала их в свою пользу. Мюриель была жестока с Пэтти, поэтому она должна уйти. Позднее она утратила свою уверенность и стала подумывать, что Карел имел в виду совсем другое.

Она неуверенно сказала:

— Потому что ты плохо обращалась со мной.

— С тобой?! Не в тебе дело. Нет, нет, есть другая причина. Ты действительно не знаешь?

Пэтти посмотрела на Мюриель с подозрением и нарастающим страхом. Она никогда прежде не говорила с Мюриель о Кареле, и все ее тело почувствовало надвигающуюся опасность. Ей следовало убежать из комнаты, она не должна

была слушать.

— Что ты имеешь в виду?

— Разве ты не знаешь, что мой отец спит с Элизабет?

Пэтти пробормотала:

— С Элизабет? Нет.

— Это правда. Я знаю, трудно поверить, но я на самом деле видела их через щель в стене. Сначала я едва ли поверила своим глазам. Но потом было много и других доказательств. Не могу понять, почему это не пришло мне в голову раньше. Они, должно быть, уже давно любовники. Бедная Элизабет. — Мюриель говорила с холодной усталостью. Она теперь отвернулась от Пэтти, не проявляя интереса к тому, как она воспримет новости.

Пэтти, сгорбившись и закрыв глаза, сидела на кровати. Она попыталась сказать: «Ты лжешь», но слова, как камни, застряли у нее в горле. В действительности она сразу же поверила Мюриель. Все было так, как будто сняли покрывало, обнажив то, что уже давно знакомо ей.

Мюриель продолжала таким же холодным, слегка протяжным голосом:

— Не знаю, стоило ли рассказывать тебе, но все пришло в упадок, дом обрушился, кажется, един-

ственное, что нам осталось, — правда, и нужно посмотреть ей в лицо. Надеюсь, ты веришь мне. Спроси Карела, если не веришь.

— Я верю тебе, — пробормотала Пэтти, склонив голову. Ей казалось, что она держит Карела в руках и что он сжался до размера ореха.

Когда Карел попросил у нее заверений в любви, она подумала, что он знает о ее взаимоотношениях с Юджином. Когда он спросил: «Будешь ли ты страдать ради меня, согласишься ли быть распятой?», — она подумала, что он имеет в виду обычные страдания, к которым она давно привыкла. Воображая то, что способна вынести ради Карела, она и представить себе не могла такое. Это была единственная вещь в мире, которой она не могла принять.

— И все так бессердечно, безжалостно, — бессвязно проговорила Мюриель, как будто размышляя вслух. — Вот что поражает меня. И теперь я вижу это и в Элизабет, как будто она утомлена происходящим. Если бы это было нечто кратковременное и импульсивное, все было бы по-другому. Но мне так не кажется. Я чувствую, как это уже стало почти чем-то установленным, а мне велено убираться. Таким образом, он обоснуется с Элизабет, и они будут жить как семейная

пара. Они уже почти что так живут.

«Они будут как супружеская пара, — подумала Пэтти, — а я буду их служанкой».

— Хорошо, я уеду, — продолжала Мюриель. — Я удаляюсь и тебе тоже советую уехать, Пэтти. Предоставь их друг другу. Наверное, это самое доброе, что я когда-либо говорила тебе. Мы должны сохранить здравый ум. Это необходимо.

Пэтти подняла голову.

— Не думаю, что я смогу сохранить свой ум здравым, — сказала она, затем прижала руку ко рту, как будто испытывая тошноту. Ей казалось, что все ее тело превратилось в лохмотья. В конце концов оказалось, что нет спасения, нет никого, кто бы окликнул падшую душу или поплакал при вечерней росе. Мир обрушился. Пэтти ничего не осталось, кроме последнего желания — рвать и разрушать. Мир наконец наказал ее за принадлежность к черной расе. Она сказала:

— Теперь я расскажу тебе что-то настолько тайное, что я почти забыла об этом.

— Что?

— Он заставил меня поклясться, что я никогда никому не расскажу, и я так глубоко спрятала это в своей памяти, что едва ли вспоминала об этом.

— О чем?

— Ты знаешь, кто такая Элизабет?

— Что ты хочешь сказать?

— Элизабет — твоя сестра.

Мюриель вскочила. Она подбежала и отчаянно затрясла Пэтти за плечи. В ее руках Пэтти закачалась взад и вперед.

— Пэтти, что ты говоришь? Какие-то безумные вещи…

— Оставь меня. Я говорю тебе правду. Ты должна быть благодарна. Ты сама сказала, что хочешь правду. Элизабет — не дочь Джулиана, она дочь Карела. У Джулиана никогда не было детей. Джулиан и Карел поссорились из-за какой-то девушки. Это случилось, когда они оба были уже женаты. Карел был влюблен в девушку, но Джулиан убежал с ней, оставив свою жену. Карел соблазнил жену Джулиана со злости, чтобы отомстить. Когда Джулиан узнал, что его жена беременна, он покончил с собой, — Пэтти помедлила, затем добавила: — Он рассказал мне об этом очень давно… когда любил меня, — ее слова снова перешли в рыдания.

Мюриель стояла совершенно неподвижно, повернув голову в сторону, в неудобной, искривленной позе. Все ее тело выглядело изломанным. Затем она осторожно села на стул с прямой спин-

кой, голова ее все еще была повернута в сторону.

— Ты клянешься, что все это правда, Пэтти?

— Клянусь. Как ты только что предложила сама, спроси его.

— Полагаю, не было сомнений — кто отец?

— Нет сомнений.

— Ты уверена, что он не придумал все это?

— Уверена. Он всегда говорил мне правду в те дни. И я нашла кое-какие письма. Он уничтожил их позже. Но спроси его, спроси.

— Как ты думаешь, Элизабет знает?

— Не знаю. Спроси ее.

— Как же он мог, если…

— Именно поэтому. С ним такое должно было случиться. Мне следовало бы знать. Он думает — я вынесу все. Но я не вынесу этого.

— Думаю, тебе лучше сейчас уйти, Пэтти, — сказала Мюриель. — Я поговорю с тобой об этом позже.

Когда Пэтти встала, Мюриель подошла и, закрыв глаза, распростерлась на постели. Она лежала там вялая и бледная, вытянув руки по бокам, маленькая струйка пара поднималась над ее губами. Казалось, она потеряла сознание.

Пэтти, спотыкаясь, вышла за дверь, оставив ее открытой. Она медленно ползла вдоль стены

коридора, как летучая мышь. Слезы стремительным потоком лились из ее глаз. Она должна будет уехать, ей необходимо наконец оставить его. Она любила его, но ее чувство ничего не в состоянии сделать. Она только причиняет себе страдания и не спасет его. Она любила его недостаточно, не так сильно, не с той степенью страдания, чтобы спасти его. Остаться и видеть его с Элизабет было не в ее силах. Она не настолько любила его, чтобы совершить для него чудо искупления.

Глава 22

Мюриель была почти готова уйти. Она не говорила больше с Пэтти, не видела Элизабет. Она поверила тому, что сказала Пэтти, но предпочитала не возвращаться к этому, ей не нужны были ни обсуждения, ни заверения, ни доказательства. Ей не хотелось ничего, что могло бы еще глубже впечатать в ее мозг мысль, с которой ей придется жить всю оставшуюся жизнь. Лучше не обращаться к ней больше и надеяться, что в конце концов ей, как и Пэтти, покажется, что она забыла об этом.

Мюриель провела большую часть предыдущего дня после откровений Пэтти, лежа на кровати почти в состоянии комы. Сильный холод, казалось, затуманил и притупил ее сознание, так что от него почти ничего не осталось, кроме слабого мерцающего проблеска. Что-то навалилось на нее, пригвоздив туловище к кровати. Возможно, это был ангел смерти, который лежал там, медленно охлаждая ее вялое тело. Неяркий дневной свет вскоре погас, и наступила тьма. Прошло время. Прозвучали чьи-то шаги. Свет, зажженный

в коридоре, проник через полуоткрытую дверь в ее комнату. Но к ней никто не зашел. Пэтти не пришла. Карел не пришел. И Элизабет не позвонила в свой привычный колокольчик. Дом был погружен в тишину.

Мюриель подумала, что она, должно быть, немного поспала. Ее конечности, казалось, вытянулись и закоченели от холода, суставы окостенели. Она не могла согнуть ни рук, ни ног. Она стала ворочаться и почувствовала боль, которая прошла через все тело, но восприняла ее как чуждое ощущение. Она знала, что ее пробуждающееся тело должно испытывать боль, и вызывала ее снова и снова. Ей казалось, что если она будет продолжать лежать неподвижно, то скоро умрет от холода и от угасания жизненных сил. Постепенно возвращающаяся к ней воля тоже становилась болью, и она закрыла глаза и оскалила зубы, ожидая ее. В конце концов ей удалось сесть и опустить ноги на пол. Судорога свела ее ступни, и их невозможно было распрямить, чтобы поставить на пол. Она потерла лодыжки, и застоявшаяся кровь зациркулировала, причиняя ей боль. Наконец она смогла встать, снять пальто и надеть еще одну кофту. Надеть снова пальто было почти непосильным подвигом, но она после

долгих медленных усилий справилась с этим. При свете, льющемся из коридора, она посмотрела на часы и обнаружила, что еще только десять часов. Тихо спустившись вниз, она вышла из дома, дошла до ближайшей телефонной будки и позвонила Норе Шэдокс-Браун.

Услышав голос Норы, она испытала такое огромное облегчение, что в первый момент едва могла говорить. И Нора, которая, казалось, все поняла с полуслова, произнесла большой монолог, высказав разумные успокаивающие замечания. Когда Мюриель начала бессвязно говорить, Нора опередила ее объяснения. Конечно, Мюриель хочет покинуть дом отца и выехать завтра рано утром. Что может быть естественнее? Разумеется, Мюриель может приехать и оставаться у Норы сколько захочет. Ей совершенно необходим отдых. Нора собирается на днях уехать погостить к своему кузену, у которого есть вилла в Сан-Ремо. Почему бы Мюриель не поехать с ней? Может, им даже удастся немного погреться на солнышке, хотя, конечно, в это время года даже в Италии нельзя быть уверенной, что погода будет хорошая.

Она будет ждать Мюриель завтра рано утром. Выходя из телефонной будки, девушка бормо-

тала; «Сан-Ремо, Сан-Ремо». Возможно, где-то еще существует мир. Хотя она с трудом могла в это поверить. Ее несчастье исходило из ее дома. Именно здесь находился механизм, частью которого она была, и тот материал, из которого она создана, так что побег не мог ничего изменить. Она легла на кровать прямо в пальто и лежала там дрожа. Пыталась думать об Элизабет, но знакомый образ так изменился, что воспринимать ее по-прежнему было невозможно. Железная дева. Она представила комнату с мерцающим огнем и разложенной на полу головоломкой, которая, возможно, уже закончена. Вспомнила открытые в полумраке глаза Элизабет. Она страшно боялась услышать звук ее колокольчика. Он прозвучал бы как зов с того света.

Мюриель не могла заснуть, переворачивалась с боку на бок и никак не могла согреться. О чем думает сейчас Элизабет, о чем она способна думать? Наверное, считает Мюриель шпионкой, предательницей, которая, подозревая, долгое время следила и интриговала? Мюриель подумала: «Меня должны ненавидеть за то, что я знаю. О Боже, если бы только я ничего не знала. Если бы я увезла Элизабет отсюда, ни о чем не догадываясь. Но согласилась ли бы Элизабет?»

Теперь невозможно было думать о том, чтобы взять с собой Элизабет. Но на что она обречена, оставаясь здесь? Мюриель не могла думать об Элизабет как о жертве. Но неужели она не испытывала жалости к своей кузине? Неужели долгие годы их дружбы претерпели такие метаморфозы, что даже их детство изменилось? Она подумала: «Бедная Элизабет», но мысль была бессодержательной. Она подумала: «Моя сестра», но не смогла придать словам нужный смысл. Единственная мысль, которая наконец пробудила в ней проблеск душевного волнения, — осознание, что она не покормила Элизабет. Может, ее кузина умрет здесь в доме, как животное, о котором не позаботились? Ее колокольчик не звенел. Было невыразимо странно думать, что кто-то другой, должно быть, накормил ее. Мюриель уснула, и ей приснился отец, каким он был много лет назад.

Когда наступило утро, оно казалось концом мира. Мюриель подумала: «Это самый худший день в моей жизни, только бы пережить его». Она открыла окно навстречу бледной полутьме. Туман, казалось, рассеивался. На улице было не холоднее, чем в ее спальне. Все в ней умолкло; даже тоненький голосок самосохранения, который порой продолжает звучать, когда уже нет благо-

разумия, теперь замер. Она только припомнила, как будто из далекого прошлого, что собиралась уйти. Мысль о том, что она может, если захочет, даже сейчас подойти к комнате Элизабет и открыть дверь, присутствовала в ее мозгу болезненно и отдаленно, как детально разработанная гипотеза пытки. Она машинально передвигалась по комнате, зубы ее стучали.

Было уже почти девять часов. Она стала упаковывать чемодан, собирая вещи неловкими, замерзшими руками. На дно чемодана сложила свои тетради и разрозненные листки, на которых была записана ее длинная поэма. Взглянув на нее мимолетно, Мюриель увидела, что она совсем не хороша. Сверху она втиснула несколько кофт и юбку. Пальцы слишком замерзли, чтобы складывать что-то, и теперь она чуть не плакала от раздражения. Чемодан не закрывался. Наверное, она производит очень много шума. Нажала на чемодан, стоящий на кровати, почти села на него и защелкнула один замок. Мюриель стала искать пальто, но обнаружила, что оно на ней. Не осматривая комнаты, она вышла за дверь. На лестничной площадке все еще горел свет. Большими шагами тихо прошла по площадке и спустилась вниз по ступеням. Она слышала, как в

кабинете отца играет патефон. Мюриель открыла переднюю дверь.

— Извините меня за столь ранний визит, — сказала Антея Барлоу, — мне просто хотелось бы знать, не могу ли я повидать священника.

Мюриель с изумлением смотрела на миссис Барлоу, которая выросла перед ней огромная, как медведь, в бледно-коричневом свете дверного проема. Миссис Барлоу была слишком большой, слишком материальной. Мюриель рядом с ней казалась бестелесным духом. Ей и в голову не приходило, что они могут общаться.

— Это довольно ранний визит, но мне необходимо срочно повидать его. Видите ли…

Мюриель пришлось сделать огромное усилие, чтобы заговорить. Ее голос прозвучал четко и ясно:

— К сожалению, отца нет дома.

— В самом деле? Не могли бы вы сказать мне…

— Он уехал, — продолжала Мюриель, — пожить на своей вилле в Сан-Ремо. — Ее голос прозвенел пронзительно и тонко.

— Действительно? Не могли бы вы…

Мюриель закрыла дверь и подождала в холле, пока не услышала звук медленно удаляющихся шагов. Затем, уже готовая снова открыть дверь,

помедлила. Она что-то забыла. Снотворное.

Мюриель пришло в голову, и она мрачно отметила это, что в течение всей этой ужасной боли они ни на минуту не подумала о том, чтобы оставить этот мир, ставший таким ужасным. Она явно предпочла агонию сознания. Поэму положила, но забыла таблетки. Возможно, она в конце концов выживет. Она почти решила оставить таблетки, но какая-то привычная осмотрительность вернула ее назад. Никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем.

Она поставила чемодан у дверей холла и снова очень тихо поднялась наверх, перешагивая через две ступени. В комнате отца все еще играла музыка. Она вошла в свою комнату и поспешно открыла буфет, где хранила таблетки. Их нигде не было.

Прошло какое-то время, прежде чем Мюриель абсолютно удостоверилась, что они исчезли. Она моргнула, затем посмотрела на других полках, провела руками по всем поверхностям. Таблеток просто не было.

Мюриель, с тех пор как проснулась, пребывала в состоянии какой-то истерической комы. Теперь же она почувствовала себя абсолютно спокойной и хладнокровной. Может, она сама убрала

таблетки отсюда? Нет. Она уверена, они недавно были здесь и она не убирала их. Нахмурившись, Мюриель стояла, глядя в буфет. Может, они кому-то просто понадобились? Но никто в доме не употреблял снотворного. Даже Элизабет спала хорошо, а отец, хотя и придерживался странного распорядка, мог заснуть когда хотел.

Мюриель медленно закрыла дверцы буфета. Это было странно и приводило ее в замешательство. Но она понимала, что ничего не может сделать. Наверное, существует какое-то простое объяснение, хотя сейчас она не в состоянии найти его. Ей лучше немедленно уйти. Это не единственная проблема и не самая худшая из тех, что она оставляет здесь. Ей лучше уйти, прежде чем она встретит отца или Элизабет позвонит в свой ужасный колокольчик. Мюриель медленно вышла из комнаты и подошла к верхней ступеньке лестницы.

По-прежнему доносились звуки музыки. Это было «Лебединое озеро». Мюриель узнала «Танец маленьких лебедей». Несомненно, все было в порядке. Она поставила ногу на ступеньку, затем неожиданно повернулась и быстро пошла по лестничной площадке к двери отца. Постучала. Никто не ответил. Она подождала минуту, снова

постучала, затем осторожно открыла дверь.

В комнате было темно. Занавески все еще задернуты, а лампа на столе прикрыта тканью. Мюриель замерла, готовая в любой момент услышать голос из тьмы. Но ничего не произошло. Затем сквозь приглушенный гул музыки услышала другой звук — звук тяжелого дыхания. Отец, должно быть, спал.

Теперь в комнате можно было различить немного больше. Она прошла через дверной проем, ступая очень тихо, и пристально всмотрелась в угол. Ее отец, облаченный в сутану, лежал на кушетке, положив голову на диванную подушку. Его дыхание было внятным — долгий гортанный, похожий на храп звук, затем длительная пауза, затем еще один звук. Мюриель закрыла за собой дверь. Она подошла поближе, чтобы посмотреть на отца.

На секунду с холодным ужасом она подумала, что его глаза открыты и он смотрит на нее. Но это всего лишь игра света. Глаза были закрыты. А губы чуть приоткрыты, и их уголки опустились, как будто он усмехался. Одна рука свесилась и лежала ладонью вверх на полу. Мюриель стояла неподвижно, пристально глядя на него. Что она делала здесь? А если он проснется и увидит, что

она разглядывает его? Но страстное желание, которое она уже не могла преодолеть, овладело ею. Очень осторожно Мюриель убрала ткань с лампы и направила свет на Карела. Она замерла. Он не шевелился. Затем Мюриель увидела маленькую голубую бутылочку, в которой хранилось снотворное. Она валялась на полу в ногах кушетки и была пуста.

Мюриель знала это с тех самых пор, как покинула свою комнату, но то знание было как будто оцепенелым и мертвым в ней. Теперь она стояла у стола, тяжело дыша, и ей казалось, что она сейчас потеряет сознание. Ей удалось сесть на стул. Она подумала: «Он погиб», — и закрыла глаза.

Минутой позже она раскрыла их. Музыка. Карел поставил пластинку. Значит, всего несколько минут назад он был в сознании. Мюриель встала и подошла к кушетке. Она едва смогла заставить себя прикоснуться к нему. Положив руку ему на плечо, она сгребла тяжелую ткань сутаны и, когда сжала ее, почувствовала кость плеча. Она встряхнула его и позвала. Закрытые веки не дрогнули, тело никак не отозвалось, равномерное дыхание продолжалось. Мюриель снова встряхнула его, в этот раз намного сильнее, схватила за оба плеча, глубоко вонзив в них пальцы, и попыталась под-

нять. Она прокричала ему прямо в ухо: «Карел! Карел!» Вялое тело выпало из ее рук.

Мюриель подумала: «Нужно позвать на помощь. Я должна быстро спуститься к телефону и позвонить в больницу.

Он просто без сознания. Он не мог выпить таблетки давно. Его еще могут спасти, могут вернуть его к жизни, с ним все будет в порядке». Мюриель бросилась к двери. Затем ее как будто кто-то схватил сзади, она заколебалась и остановилась, а остановившись, застонала от боли и жалости к себе. «Это, это, это — ей не удалось спастись от этого. Следует ли возвращать назад Карела?»

Мюриель повернулась и всмотрелась в его лицо. Оно уже немного изменилось. Белая, блестевшая, как эмаль, кожа теперь стала похожа на серый воск, на утоптанный снег, утративший свою белизну. Черты его заострились. Даже волосы Карела, рассыпавшиеся по подушке, потеряли свой глянец и выглядели как едва узнаваемые останки, найденные в могиле или гробу. Мюриель заскрежетала зубами. Она должна думать сейчас, думать так напряженно, как никогда в жизни не думала прежде. Но могла ли она в такой ситуации думать?

Карел принял решение. Вправе ли она изме-

нить его? Привилегия, на которую она заявила свои права, могла ли она отказать в ней Карелу — уйти когда и как он захочет? У него были свои причины, чтобы уйти, причины, возможно, еще более ужасные и непреодолимые, чем она могла представить. Она не могла взять на себя ответственность за то, чтобы насильно, из жалости, вернуть его к сознанию, которое он отверг и решил уничтожить. Не могла она таким образом поступить со своим отцом, с его авторитетом, его достоинством. Карела нельзя тащить за ноги назад к ненавистной жизни. Она не могла в этот последний момент присвоить себе такую власть над ним.

И все же она обладала такой властью и не могла отрицать этого, властью над жизнью и смертью. Сейчас и еще некоторое время она сможет решать — жить ли ему. Не следует ли ей забыть, кто он, и просто спасти его? Но она не могла забыть, кто он. Не вернуть ли ему снова свободу выбора? Он мог бы принять решение снова, она же не приговорит его к жизни. Он всегда делал что хотел. Следует ли ей поступить ему наперекор сейчас? Как она могла решиться на такую ужасную вещь, когда сама потрясена и больна сейчас, больна от близости смерти, смерти, которая овладевает Ка-

релом, медленно уносит его и которую она могла бы остановить, если бы захотела, своим криком?

Мюриель села и положила голову на стол. Музыка продолжала играть, легкая, воздушная, чистая и немилосердно прекрасная. Музыка лилась как будто из иного мира, где не было ни болезни, ни смерти. А здесь, в комнате, раздавалось дыхание Карела, гортанное и равномерное, словно тихий, погруженный в себя разговор. Мюриель подумала: «Если я ничего не предприму, то эти звуки скоро кончатся, немного погодя они просто прекратятся, раздастся последний вздох — и больше ничего». Машинально она стала считать. Затем подумала: «Дыхание, биение сердца всех людей сочтены. Моя жизнь так же конечна, как и его». Размышляла ли она и приняла ли какое-то решение? Нет, мысли не могли сейчас помочь. Никогда еще она не ощущала такого полного и абсолютного отсутствия Бога. Она была одна, ей не на что было опереться и некуда обратиться.

Мюриель встала и прошлась. Она подошла к нему поближе и всмотрелась в спящее лицо. Казалось чудовищным вторжением — смотреть на это лицо. Мир, которого оно жаждало, еще не снизошел на него. Спящее лицо было тревожным. «О

Боже, хочет ли он, чтобы его разбудили, хочет ли он, чтобы его спасли? — думала Мюриель. — Если бы я только знала, если бы он только мог сказать мне. Скажи он мне раньше, я бы подчинилась ему». Она склонилась над ним, пристально вглядываясь, но беспокойно осунувшееся лицо не несло в себе никаких известий. Внезапно она увидела что-то белое, зажатое в правой руке Карела, лежавшей между его боком и спинкой кушетки. Это был клочок скомканной бумаги. Мюриель протянула руку, поколебалась, а затем осторожно потянула бумагу. Какого ужасного пробуждения боялась она сейчас? Может, он проснется и узнает, что она совершила. Несомненно, он знал даже сейчас. Его пальцы, казалось, сопротивлялись. Наконец бумага выскользнула. Мюриель разгладила ее.

> Мой дорогой, это так ужасно, что я едва могу писать, я должна уйти, а если бы я увидела тебя, то не смогла бы. Ты помнишь, я сказала, что никогда не уйду, дорогой. И не ушла бы, честное слово, не ушла бы. Ты знаешь, я люблю тебя, мой дорогой. Только этого я не смогла вынести. Как ты мог так поступить? Ты

понимаешь, я имею в виду Элизабет. Мюриель рассказала мне. Это убило меня. Тебе принадлежала моя жизнь, все мое существо. Ты знаешь, я люблю тебя и я была твоей рабой, но я не могу оставаться вместе с ней, и единственный способ уйти — вот так внезапно. Когда ты получишь это письмо, я буду далеко, и не пытайся разыскать меня, ты не сможешь. Я собираюсь немедленно уехать из страны. Не беспокойся обо мне, у меня есть сбереженные деньги, дорогой. Ты знаешь, я буду несчастлива и всегда буду думать о тебе. Всю мою жизнь я буду печалиться о тебе. Я не смогла стать такой, какой ты хотел меня видеть, это оказалось слишком тяжело для меня. Прости меня, пожалуйста. Ты знаешь, все это потому, что я так люблю тебя, ты знаешь это, я люблю тебя и едва смогла написать это письмо. Прощай.

Пэтти.

Мюриель дважды прочла письмо и затем разорвала на мелкие клочки. Письмо помогло ей обрести твердость, здесь было о чем подумать.

Итак, Пэтти приняла решение уйти. Она действовала даже быстрее, чем Мюриель. Значит, это из-за Пэтти он лежал здесь. Он узнал, что Пэтти все известно, и знал, кто сказал ей. «Что он подумал обо мне, что он вообще думал обо мне? — размышляла Мюриель. — Видит ли он меня сейчас во сне? И существуют ли эти странные длинные предсмертные сны?» Она стала осматривать комнату. Возможно, где-нибудь лежало письмо, может, он написал ей, оставил хоть небольшое послание. Он должен был знать, что рано или поздно именно она найдет его. Она посмотрела на столе, обшарила весь пол и кушетку. Наконец увидела клочок белой бумаги, лежащий под кушеткой недалеко от его изголовья, и быстро подобрала его. Это была бумажная птичка.

Мюриель заплакала. Она плакала безмолвно, слезы лились горячим ослепляющим потоком. Она любила своего отца, и любила только его. Почему она не поняла этого раньше? Ее отношения с отцом были погружены в какую-то тьму, и в этой тьме спала ее любовь. Если бы только не было Элизабет. Если бы были только она и Карел вместе. Сейчас она, казалось, отчетливо вспомнила время, когда так было. Она любила его. Она могла бы сделать его счастливым и могла спасти его от

демонов. Но Элизабет всегда вмешивалась. Все связи Мюриель с миром, ее связь с отцом должны были проходить через Элизабет. Теперь она поняла, что та особая боль, которую причиняла ей кузина и к которой она так привыкла, почти не замечая ее, была боль ревности.

Мюриель продолжала плакать. Она тихо стонала и дрожала, стоя в освещенной лампой комнате рядом со спящим отцом. Придет ли к ней когда-нибудь любовь снова? Любовь умирала, и она не могла спасти ее. Она не могла разбудить отца и сказать ему, что любит его. Ее любовь существовала только в этом ужасном промежутке между тьмой и тьмой. Это была любовь замурованная, запечатанная. Она могла иметь только один демонический исход — позволить ему уйти. Это все, что она могла сейчас для него сделать. Она не в состоянии вернуть его к сознанию, которое он считал невыносимым. Она не пробудит его, как Лазаря, от сновидения об аде к самому аду — месту, где любовь бессильна спасти и сохранить. Знание было ниспослано ей слишком поздно, или, скорее, своим развращенным сердцем она приняла его слишком поздно. И теперь она навечно осуждена быть отлученной от мира простых невинных вещей — бездумных привязанностей,

свободного счастливого смеха и собак, пробегающих мимо по улице.

Музыка «Лебединого озера» внезапно оборвалась. Передвигаясь, как в трансе, Мюриель наклонилась, чтобы поставить пластинку сначала. Ее слезы лились на свисающие складки сутаны. Он ушел и оставил ей Элизабет. Теперь она не сможет расстаться с Элизабет. Когда Мюриель повернулась назад к спящему, она увидела яркую полоску света между занавесками и устало раздвинула их. Туман рассеялся. Небо было голубым, а солнце ярко сияло. На фоне плывущих облаков она увидела башни Св. Ботолфа, Св. Эдмунда и Св. Данстана и огромный купол Св. Павла. Теперь невозможно разлучиться с Элизабет. Карел приковал их друг к другу, так что одна будет проклятием другой до скончания века.

Глава 23

— Маркус.

— Да, Нора.

— Ты не собираешься сходить в дом священника навестить их?

— Я ничего не смогу сделать.

— Девочки собираются сразу же переехать в новый дом?

— Думаю, да.

— Куда? В Бромли или какое-то другое место?

— В Бромли.

— Мне бы очень хотелось, чтобы Мюриель отдохнула теперь, когда началась весна.

— Она могла бы себе это позволить.

— Они обе сейчас вполне обеспеченные, не так ли?

— Полагаю, Карелу следовало оставить что-нибудь Пэтти.

— С Пэтти все в порядке. Если будешь ей писать снова, не забудь называть ее Патрицией.

— Кажется, она получает большое удовольствие, находясь в Африканском лагере для беженцев.

— Несчастья других утешают нас.

— Это циничное высказывание, Нора?

— Нет.

— Пэтти приняла это спокойно, тебе не кажется?

— У Пэтти появились безжалостные черты.

— Во всех нас появилась жестокость.

— Ты говоришь, девочки приняли это спокойно?

— Во всяком случае Мюриель. Я все еще не видел Элизабет.

— Ни перышка не взъерошено?

— Ни перышка не взъерошено.

— Странная молодая женщина.

— Ты больше не писала ей?

— Я покончила с попытками повидать Мюриель.

— На следующей неделе дом священника снесут.

— Ты видел заметку в «Таймс» о башне Рена?

— Да, очень плохо. Ты уже нашла новое место для Юджина Пешкова?

— Нет еще.

— Надеюсь, он продолжает получать эмигрантскую пенсию?

— Не беспокойся. Я — его пенсия.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я плачу ему небольшое жалованье. Он думает, это из фонда.

— Нора, ты удивительная.

— Благотворительность надо проявлять разумно. Не думаю, что тебе это удается.

— Ты намекаешь на Лео. Между прочим, не забудь, он придет на чай.

— Как ты думаешь, он действительно намерен закончить курс по французскому и русскому языкам?

— Да.

— Не было необходимости давать ему триста фунтов.

— Я же говорил тебе, мы ассигновали их на образовательный фонд.

— Он использует тебя.

— Глупости. Пожалуй, я все-таки схожу в дом священника.

— Ты сегодня останешься здесь?

— Нет, я должен вернуться назад в Эрлз-Корт, я собираюсь работать допоздна.

— Итак, ты намерен продолжить работу над книгой?

— Да, но теперь все изменилось.

— Ты уже договорился, чтобы перевезли твою

мебель?

— Нет, нет еще.

— Хочешь, я договорюсь?

— О, пожалуйста, не беспокойся, я… Посмотри, дождь прекратился.

— Ну, тогда, думаю, тебе лучше идти сейчас, если ты решил уйти.

— Ты точно не придешь, Нора?

— Нет. Нужно приготовить горячие булочки к чаю.

— Булочки. Превосходно.

Строительная площадка кишела людьми и машинами, а над ней непрекращающийся гул механизмов, голосов и транзисторов поднимался в бледно-голубой воздух, пронизанный солнечным светом. Недавно прошедший дождь покрыл черную поверхность маленькими зеркальными лужицами, каждая из которых отражала бледный голубовато-серебряный свет. Оранжевые чудовища с огромными когтями впивались в липкую землю, и цемент с шумом падал в огромные вращающиеся барабаны. В отдалении уже поднимался стальной скелет.

Вдалеке виднелся дом священника, словно красный комочек у подножия вздымающейся ввысь грациозной серой башни Рена. Маркус

пробирался по грязному тротуару среди поющих и кричащих людей в полосатых фуфайках и медленно маневрирующих грузовиков. Что ему нужно в доме священника? С какой стати он тащится туда? Во время мрачных обрядов после смерти Карела и в течение следующего месяца или чуть больше он несколько раз видел Мюриель, но ни разу — Элизабет. Мюриель вела себя официально вежливо и неизменно отказывалась принять его помощь. Она была решительна, спокойна и деятельна и казалась совершенно равнодушной к самоубийству отца. Она бы никому не позволила помочь, и сегодня Маркус ничего не в состоянии сделать для нее. Он шел просто как зритель — удовлетворить свое собственное болезненное страстное любопытство.

Маркус жил в другом измерении с тех пор, как умер Карел. И казалось, прошло уже так много времени, что можно было и состариться. После первого ужасного потрясения, вызванного этой новостью, Маркус почувствовал себя сраженным, бесполезным и лишившимся цели. Карел был своего рода великим символом. Маркус был готов размышлять о Кареле, бороться с ним, терпеть от него обиды, возможно, спасти Карела, но он не мог справиться с этим внезапным прощанием.

Маркус остался один на один со своей прежней любовью к брату, с которой ничего не мог поделать. Теперь его мучил вопрос: прояви он больше привязанности, больше понимания — возможно, даже некоторую жесткость, — удалось бы ему спасти брата? Маркуса терзала мысль о том, что Карелу, видимо, было что-то нужно от него.

Почему умер Карел? Что за демон, что за призрак, которого невозможно вынести, заставил угаснуть это огромную жизненную силу? Был ли Карел в отчаянии и что это за отчаяние? Или его уход был обдуманным поступком — и, как оказалось, последним на долгом пути циничных проявлений? Как можно связать этот поступок с той страстью в Кареле, которую Маркус был готов боготворить? Может, чистая случайность или непредвиденное обстоятельство привело Карела к смертельному исходу? Или он умер под воздействием настроения?

Маркусу было невыносимо думать о брате как о человеке, потерпевшем поражение. Ему необходимо, и сейчас он понял, как далеко из детства протянулась эта необходимость, видеть Карела сильным и властным. Сам же он жил за счет этой силы, даже когда осуждал ее, — возможно, особенно когда осуждал. На самом деле он стал

считать Карела мудрым колдуном. Черная философия Карела резанула острием правды. Правда почти всегда немного ранит, вот почему мы так мало знаем о ней. Правда Карела походила на агонию. Но может ли такая правда родиться на свет, и если нет, то правда ли она? Карел пережил это, возможно, обезумел и умер от этого. Маркус ощутил только легкое прикосновение правды и отпрянул, пережив достаточно для того, чтобы понять всю фальшь написанного им в книге. Он воображал, что у него еще есть время учиться у Карела, помочь Карелу. Этот внезапный конец оставил ему боль замешательства и вновь и вновь возвращающиеся сомнения. Может, все это было всего лишь прахом и пеплом — и страсть Карела, и его собственные раздумья? Наверное, смерть доказала это? Возможно, любая смерть доказывает это.

Большой мебельный фургон стоял у дома священника, выносили как раз последнюю вещь. Маркус встал в стороне и задумчиво наблюдал. Он узнал кое-что из вещей, находившихся когда-то в доме его отца. Вещи, вещи… они переживают нас и переходят в новые места действия, о которых мы ничего не знаем. Его обидело, что Мюриель не посоветовалась с ним, как распоря-

диться мебелью, не вся она поедет в Бромли. А также он считал, что ей следовало предложить ему что-нибудь на память о Кареле. Теперь ему казалось что Карела тоже упаковали и проворно увезли. Тайна Карела сократилась до размера скамеечки для ног.

Задняя дверца фургона с громким лязгом закрылась, и грузчики вскарабкались в кабину. Фургон медленно тронулся. Его большая квадратная тень проползла по красному кирпичному фасаду и коснулась серого основания башни Рена. Дверь дома священника оставалась открытой, и со своего места Маркус видел пустой холл. Дом превратился в пустую скорлупу, пространство, которое вот-вот поглотится атмосферой. Вскоре он будет существовать только в памяти; и в действительности, при бледном прозрачном солнечном свете он уже выглядел как воспоминание. Он казался живым и в то же время не совсем настоящим, как цветная фотография, проецированная в темной комнате. Маркус размышлял, следует ли ему зайти, но боялся. Он был уверен, что Мюриель и Элизабет все еще там.

Пока он ждал, а звуки со строительной площадки со скрежетом пролетали над его головой, сливаясь с речным воздухом, рядом с ним упала

другая тень. Подъехало такси и остановилось у дома. Шофер вышел, подошел к открытой двери и позвонил в колокольчик, прозвучавший громко и странно в пустом доме. Маркус наблюдал. Издалека раздалось эхо медленных, удивительно тяжелых шагов. Затем в раме дверного проема он увидел двух девушек, неподвижных, как будто они стояли там уже долгое время, их бледные лица почти соприкасались, а тела, казалось, переплелись. Потрясенный, он обнаружил, что Мюриель несет Элизабет на руках. Шофер бросился вперед. Ноги Элизабет осторожно коснулись скользкого тротуара. Маркус увидел ее обращенное к нему лицо, удлиненное и бледное, наполовину скрытое распущенными волосами с металлическим блеском, отливавшим при солнечном свете слегка зеленоватым серебром. Это было и в то же время не было лицо той нимфы, которую он знал. Большие серо-голубые глаза болезненно прищурились от яркого света и встретили его взгляд рассеянно, без всякого интереса. Теперь ей помогали сесть в такси. Мюриель последовала за ней, и дверь захлопнулась. Такси поехало по узким дорогам строительной площадки, все уменьшаясь и уменьшаясь, пока не скрылось в узком лабиринте города. Элизабет

не узнала его.

Маркус вздохнул и на мгновение ощутил, как бьется его сердце. Затем почти машинально он вошел в дом. Теперь там не было никакой опасности, никакого призрака, с которым он мог бы встретиться. Все страшные таинственные силы исчезли. Девушки забрали с собой свою загадочную сплоченность, свою недоступность. И он перестал существовать. От этого сильного света, коптящего и мрачного, как будто удалили нить накала, и теперь свечение постепенно блекнет. Прежний страх исчезнет, и любовь тоже исчезнет или неузнаваемо изменится. Неумолимая живительная энергия человека будет и дальше произрастать, чтобы затмить наконец умершего.

Стоя посреди холла, Маркус внезапно ощутил жуткое чувство — кто-то был рядом, наблюдал, двигался. Он слегка повернулся и увидел уголком глаза тень удаляющейся фигуры. Это был Юджин Пешков, который, увидев Маркуса, пытался ускользнуть под лестницу в надежде, что его не заметили. Маркус хотел было окликнуть его, но потом решил не делать этого. Его немного огорчило и опечалило, что Юджин прячется от него. Но он никогда не стремился подружиться с отцом Лео. Маркус подумал, что, может, следует

дать Юджину «на чай», скажем, фунт. Вспомнили ли об этом девушки? Но нет, это невозможно. В такой день они могли только избегать друг друга, делать вид, будто не узнают, и, как бы стыдясь, отворачиваться.

Маркус стал подниматься по лестнице. Он ступал тихо, но шаги отдавались негромким эхом. Он достиг верхней площадки и направился к комнате, которую принял за кабинет Карела. Дверь была раскрыта, и через нее светило солнце. Комната совершенно опустела, и на полу уже лежал толстый слой пыли. Ничто из того, что Маркус видел здесь сейчас, не напоминало темной, загроможденной вещами пещеры, где он в последний раз встретил своего брата живым и где Карел ударил его, а он воспринял тот удар как неопровержимое доказательство любви. Так ли это было? Лучше не думать об этом.

Он подошел к окну и выглянул. Шпили городских церквей поблескивали при свете, как будто едва различимые звезды зажглись на них и неуловимо перемещались с места на место. Маркус стал думать о Джулиане. Он представил его очень живо, как уже не представлял много лет, изящным мальчиком-подростком. Они любили его. Действительно, они любили друг друга, все

трое. Теперь Карел тоже ушел, и удалился так быстро, словно торопился найти дорогу к Джулиану в какую-то далекую землю юности. Остался только Маркус, обремененный этими смертями, этими жизнями. Все, что было необычного, исключительного в них на этой земле, живет и произрастает только в нем.

За его спиной раздался какой-то звук, и он резко повернулся: в дверях стояла женщина. Она была одета в модное голубое твидовое пальто, а светлые, чуть тронутые сединой волосы распушились под маленькой голубой шляпкой. Ее внезапное появление, неподвижность, пристальный взгляд делали ее похожей на призрак. Затем она двинулась. Маркус вглядывался в нее. Что-то в этих широко открытых восторженных глазах было знакомо ему. Из глубин потрясенной памяти всплыл образ, и он воскликнул:

— Антея!

— Маркус!

— Я не верю своим глазам! Откуда ты появилась? Это действительно ты? Ты совсем не изменилась.

— Ты тоже ничуть.

— Но где ты была все эти годы? И что, наконец, ты делаешь здесь? Уж тебя я никак не ожидал

увидеть.

— Я работаю сейчас в этом районе в области социальной психологии.

— Подумать только! В области социальной психологии! Но почему я не встречался с тобой и даже не слышал о тебе?

— Ну, ты мог слышать обо мне как о миссис Барлоу. Не думаю, чтобы ты знал мою фамилию по мужу.

— О Боже, ты и есть миссис Барлоу?

— Наверное, ты слышал, что я ужасна!

— Нет, нет! Ты все еще в компартии, Антея?

— Боже упаси, нет. Боюсь, что я даже больше и не истинная христианка. Пожалуй, я что-то вроде буддистки.

— Но почему ты не связалась со мной? Я понимаю, прошло много времени…

— И человек не решается восстанавливать отношения со старыми друзьями. Ну, я только недавно вернулась в Лондон. И с тех пор, как приехала, я выполняла довольно необычное задание. Видишь ли, это касается Карела…

— Карела?

— Да. Понимаешь, епископ специально попросил меня повидать Карела и представить своего рода рапорт о состоянии его психики. Это должно

было быть вполне конфиденциально. Мне следовало только сказать, что я назначена пасторатом. Епископ был ужасно обеспокоен…

— Но как странно, что он обратился к тебе. Я хочу сказать, что за совпадение…

— Это не совсем совпадение, так как епископ знал, что я была знакома с Карелом раньше. Он считал, что это может помочь. О, епископ знает все обо мне, недостойной!

— Однако, как ужасно странно. Карел был страстно увлечен тобой прежде, ты знаешь! Хотя все мы были увлечены, Джулиан, я… Ты причинила нам очень много беспокойства!

— Знаю. Я вела себя ужасно!

— Ну и какого мнения о Кареле ты сейчас?

— Мне так и не удалось повидать его.

— Но ты, наверное, писала ему?

— Да, но, думаю, он не получал моих писем. Он совершенно отрезал себя от мира.

— Как странно. И как печально.

— Так что, видишь, он так и не узнал.

Маркус посмотрел на Антею. Конечно, она изменилась. Однако она все еще была той же восторженной, слегка безумной, беспокойной девушкой. И теперь она занималась психологией. Что ж, это казалось вполне подходящим. Он

сказал Норе, что считал ее забавной, и все еще находил ее такой. Но он любил ее.

— Извини, что не написала тебе, Маркус. Видишь ли, Карел был…

— Понимаю.

— Я как раз сейчас собиралась написать тебе. Впрочем, я много знаю о тебе от Лео.

— От Лео? Значит, ты знакома с юным Лео, не так ли?

— О да, и мы большие друзья, Лео и я.

— Но как ты познакомилась с Лео?

— Это долгая история. Видишь ли, он приходит ко мне со всеми своими заботами. Ему не хватает матери, которой у него никогда не было. А я время от времени помогала ему небольшими ссудами.

— Ссудами? Интересно, на что? Это как-то связано с девушками или мотоциклами?

— Нет, нет, это для его работы в Лестере.

— Что это за работа в Лестере?

— Его работа с малолетними правонарушителями. Стоящее внимания дело.

— Малолетние правонарушители! Понятно. Итак, Антея, ты замужем.

— Разведена, — выдохнула она.

— Хорошо. Я хочу сказать… Пообедай со мной, Антея. Приходи в следующий понедельник, при-

ходи ко мне.

— С удовольствием. Я уже знаю, где ты живешь. Нашла твой адрес в телефонной книге. Но ты, кажется, переезжаешь оттуда? Кто-то сказал…

— Нет, — сказал Маркус. — Я не переезжаю. Точно не переезжаю.

— Слушай, я должна бежать. Мне пора в клинику.

— Тогда до понедельника. В половине восьмого.

— Au revoir, Маркус.

Когда Маркус услышал ее удаляющиеся шаги и звук закрывающейся двери, он начал смеяться. Он вспомнил, что она всегда заставляла его смеяться. И не потому, что была нелепой. Ее удивительная энергия, казалось, автоматически вызывала смех. Карел тоже смеялся из-за нее, предаваясь расслабляющему необъяснимому веселью.

Как странно все сложилось, внезапно вернулась Антея, и как воодушевило его ее появление. Во всем этом была какая-то нелепая, но ободряющая наивность. Он с нетерпением ждал новой встречи с ней. В ее присутствии обычный мир, казалось, вновь обретал свою первозданность и становился тем миром, где человеческие су-

щества предъявляли простые требования друг к другу и где все было незначительным и случайным, трогательным и забавным.

Маркус обнаружил, что покинул комнату Карела и спускается по ступеням. Продолжит ли он работу над книгой? Возможно, эту книгу сможет написать только гений, а он не был гением. Наверное, то, что он хотел сказать о любви и о человечности, — правда, но это невозможно точно выразить в виде теории. Хорошо, он подумает обо всем этом позже. А сейчас ему нужна передышка, может даже отпуск.

Маркус вышел на улицу. Он улыбнулся бледному солнечному свету, людям, суетившимся за работой, окунулся в веселый шум звенящих голосов и журчащих транзисторов.

Подумать только, прежняя Антея снова вернулась, да еще таким образом. Социальный служащий в области психологии! Все это так странно, чрезвычайно странно.

Глава 24

Юджин Пешков тихо насвистывал, упаковывая свой чемодан. Хорошо, что у него мало вещей. Это так облегчает переезд. Мисс Шэдокс-Браун устроит так, что он переедет в церковное общежитие в Вест-Бермондси. Говорят, сначала ему придется делить комнату еще с кем-то, но пообещали в скором времени предоставить ему отдельную.

Юджин уже несколько дней жил один в доме священника. Мебель увезли, девушки уехали. Лео, у которого внезапно появились деньги, отправился на каникулы в Испанию. Юджину было жаль оставлять это место. Оно напоминало уютную нору, особенно зимой. Конечно, теперь она опустела и напоминала о смерти, а в последние два дня здесь стоял невыносимый шум, так как сносили башню Рена. Сегодня, к счастью, воскресенье.

Его пожитки заполнили три больших чемодана: в одном — одежда, в другом — фаянсовая посуда, завернутая в полотенца, третий был предназначен для всего оставшегося — бритвенных принадлежностей, радио, русской шкатулки,

иконы, фотографий Тани. Свои книги в бумажных обложках он сложил в коробку и поставил в холле, чтобы их забрала миссис Барлоу для «Оксфама»[18]. Растение в горшке и подставка к нему уже отправились в общежитие на ручной тележке.

Итак, он снова переезжает. И всегда так было. Из одного лагеря в другой. Он бросил фотографию Тани на дно чемодана, затем снова достал и минуту смотрел на нее. Она была не очень хорошая и изображала Таню в один из тех моментов, когда та пребывала в настроении трагической королевы. Он всмотрелся в деревянный барак за ее спиной, пытаясь вспомнить его поточнее. Таня походила на призрак. Он смотрел мимо нее на барак. Они делили его с другой семейной парой. Их считали счастливцами. Возможно, они действительно были счастливцами. Наверное, он счастливчик. В конце концов, мир всего лишь лагерь с хорошими и плохими углами. Его угол никогда не был слишком плохим. Мир — транзитный лагерь. И единственное, что определенно, — человек здесь ненадолго.

Он жалел, что не был добрее к Тане. Ему каза-

---

[18] Примечания: 18
Оксфордский комитет помощи голодающим.

лось, что она каким-то образом поймала его в ловушку. Она умерла молодой, в недоумении и страдании, а он был слишком занят Лео и своим собственным будущим, чтобы ухаживать должным образом за умирающей. Он расплачивался сигаретами за то, чтобы с ней посидели. Ему было очень жаль ее, но в то же время страстно хотелось, чтобы все это закончилось. Она не умела храбро переносить страдания, а ему не хотелось переживать с ней ужас смерти. Его возмущало, что она не прошла проверку на стоицизм… Он не проронил ни слезинки ни о своей матери, ни о сестре — людях, которые были ему бесконечно дороже, чем Таня. Он был суров с Таней, а она не понимала почему. Имело ли это теперь какое-то значение, теперь, когда она перестала существовать?

Он уронил фотографию в чемодан и повернулся, чтобы взять икону. Молочно-голубые ангелы были бесконечно печальны. Они уже прошли долгий путь, и когда Юджин исчезнет, они все еще будут странствовать и странствовать, пока не настанет день, когда никто уже не сможет сказать, кто они. Существует только это движение. Какое теперь имеет значение его жестокость к Тане, размышлял Юджин, раз нет Бога? Но он

чувствовал, что имеет значение. Это было всего лишь ощущение тяжести в груди. Он стряхнул крошки от тостов и сахарного пирожного с пушистой зеленой скатерти и завернул в нее икону.

Пэтти теперь тоже казалась такой далекой, как будто принадлежала другой эпохе. Мысли о ней уже не причиняли боли, он был изолирован, закрыт от нее. Боль существовала где-то отдельно, к нему же пришла печаль. Он любил Пэтти, потому что она тоже была неудачницей, как и он сам, но неудачницей совершенно другого рода. В действительности они не подходили друг другу. Он был не в состоянии впустить Пэтти в свое прошлое, а он весь состоял из прошлого, этого мрачного яйца, вместившего в себя сокровища его детства. Он не мог впустить туда Пэтти, да теперь уже слишком поздно что-либо менять. Конечно, он мог бы простить Пэтти, по крайней мере попытаться понять. Но когда она внезапно ушла, он почувствовал некое облегчение и вскоре стал думать о случившемся как о неизбежном. Счастье, которое она для него символизировала, в то же время таило в себе и опасность. Стать старше — значит знать, что не обстоятельства, а сознание делает человека счастливым или печальным. Он был печальным человеком и

никогда не сможет дать счастье другим или жить в доме, как живут обычные люди.

Его нога коснулась чего-то лежащего под койкой, и он наклонился посмотреть. Это был детектив в бумажной обложке, который он не заметил. Он поднял его, открыл дверь и медленно направился к холлу, чтобы положить его в коробку вместе с другими книгами. Чуть слышно ступая, он прошел через безжизненную, опустевшую кухню. Звук шагов живого человека казался здесь неуместным, пробуждал умирающее эхо. Он прошел через темное пространство под лестницей и резко остановился. В холле кто-то был. Затем он рассмотрел, что это всего лишь миссис Барлоу. Он собирался заговорить с ней, но заметил, что она как-то странно ведет себя. Она встала на колени около коробки с книгами, затем села на пол, положив голову на коробку, и он услышал чуть слышные всхлипывания. Миссис Барлоу плакала.

Юджин тихо попятился и на цыпочках прошел через кухню, оставив книгу на кухонном полу. Ему не хотелось оказаться впутанным в горе миссис Барлоу. О ком или о чем она плакала там, одна, в пустом холле, он не знал — по правде говоря, он никогда не думал о ней, — и загадка

ее слез вскоре исчезла из его памяти. Он снова стал упаковывать вещи. Третий чемодан почти заполнился. Он положил свой небольшой радиоприемник рядом с иконой, обложив его газетами. Осталось уложить только шкатулку.

Юджин взял шкатулку. И как только он сделал это, на него нахлынул поток воспоминаний, заставивших его задохнуться. Он вспомнил все, что с ней связано. Это было в гостиной их загородного дома — точно в такой же шкатулке он держал кусочки сахара для своего белого английского терьера. Маленькую собачку однажды загрызла одна из полудиких собак, охранявших дом. Он ясно представил себе лакея, который принес ее безвольно обвисшее, как у маленькой крысы, тело. Значит, те слезы, так неожиданно обрушившиеся на него и сейчас снова застилавшие его глаза, не были слезами о матери или о сестре. А может, и были. Так как это слезы о нем самом. То была первая трагедия в его жизни.